

ВАЛЕРИЙ ЕСЕНКОВ

ДУЭЛЬ

ЧЕТЫРЕХ.

ГРИБОЕДОВ

Валерий Есенков
Дуэль четырех. Грибоедов

«Автор»

Есенков В. Н.

Дуэль четырех. Грибоедов / В. Н. Есенков — «Автор»,

ISBN 5-17-022229-7

Талантливый дипломат, композитор, литератор, А.С. Грибоедов оставил свой «след в истории» государства Российского в первую очередь как автор знаменитой комедии «Горе от ума». Новый роман современного писателя-историка В. Есенкова посвящён А. С. Грибоедову. В книге проносится целый калейдоскоп событий: клеветническое обвинение Грибоедова в трусости, грозившее тёмным пятном лечь на его честь, дуэль и смерть близкого друга, столкновения и споры с Чаадаевым и Пушкиным, с будущими декабристами, путешествие на Кавказ, знакомство с прославленным генералом Ермоловым...

ISBN 5-17-022229-7

© Есенков В. Н.

© Автор

Содержание

Часть первая	8
Конец ознакомительного фрагмента.	98

Валерий Николаевич Есенков

Дуэль четырех. Грибоедов

*Из Краткой литературной энциклопедии,
т. 2. М. 1964.*

ГРИБОЕДОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ [4(15). 1.1795 (по др. данным 1794), Москва – 30.1 (11.11). 1829, Тегеран, похоронен в Тифлисе] – русский писатель и дипломат. Родился в семье гвардейского офицера. Получил разностороннее домашнее образование. С 1802 (или 1803) по 1805 г. учился в Московском университетском Благородном пансионе. В 1806 г. поступил в Московский университет на философский факультет. В 1810-м, окончив словесное и юридическое отделения, продолжал учиться на физико-математическом факультете. В университете Грибоедов выделялся разносторонней талантливостью, незаурядными музыкальными способностями, владел несколькими европейскими языками. Научные интересы Грибоедов сохранил на всю жизнь (см. его заметки по истории, археологии).

В студенческие годы Грибоедов общался с будущими декабристами: Н. М. и А. З. Муравьевыми, И. Д. Якушкиным, А. И. Якубовичем. Впоследствии особенно близок был с П. Я. Чаадаевым. В 1812 г. Грибоедов поступил добровольцем в армию; кавалерийские части, в которых он состоял, находились в резерве. В 1814 г. Грибоедов опубликовал в журнале «Вестник Европы» корреспонденции «О кавалерийских резервах», «Письмо из Брест-Литовска к издателю». В 1815-м опубликована и поставлена на сцене комедия «Молодые супруги» – переделка комедии французского драматурга Крезе де Лессера «Le secret du menage», вызвавшая критику М. Н. Загоскина. Грибоедов ответил памфлетом «Лубочный театр».

В 1816 г., выйдя в отставку, Грибоедов поселился в Петербурге. В 1817-м он зачисляется на службу в Коллегию иностранных дел, знакомится с литераторами – В. К. Кюхельбекером, Н. И. Гречем, позднее с А. С. Пушкиным. В начале литературной деятельности сотрудничает с П. А. Катениным, А. А. Шаховским, Н. И. Хмельницким, А. А. Жандром. В 1817 г. написана комедия «Студент» (совместно с Катениным), направленная против поэтов «Арзамаса», последователей Н. М. Карамзина. Высмеивая их, Грибоедов полемизировал как с чувствительностью сентиментализма, так и с мечтательностью романтизма в духе А. А. Жуковского. Разделяя литературные позиции И. А. Крылова и Г. Р. Державина, Катенина и Кюхельбекера, Грибоедов был близок к группе так называемых «архаистов», состоявших в «Беседе любителей русского слова», возглавлявшейся А. С. Шишковым, хотя, конечно, был далёк от политического консерватизма последнего. Эти взгляды сказались в статье Грибоедова «О разборе вольного перевода Бюргеровой баллады «Ленора», в которой он защищал перевод, сделанный Катениным, от критики Н. И. Гнедича. Комедия «Своя семья, или Замужняя невеста» написана в 1817 г. в основном Шаховским, но с помощью Грибоедова (ему принадлежит начало 2-го действия) и Хмельницкого. Комедия «Притворная неверность», являющаяся вольным переводом (совместно с Жандром) комедии французского драматурга Барта «Les fausses infidelites», в 1818 г. была представлена на сценах Петербурга и Москвы, в 1820-м – в Орле.

В середине 1818 г. Грибоедов назначен секретарём русской миссии в Персии. Назначение это было по существу ссылкой, поводом для которой послужило участие Грибоедова секундантом в дуэли офицера В. А. Шереметева и графа А. П. Завадовского из-за артистки Истоминой.

В феврале 1819 г. Грибоедов приехал в Тавриз. Вероятно, к этому времени относится отрывок из его поэмы «Путник» (или «Странник») – «Кальянчи» о пленном мальчике-грузине, которого продают на Тавризском рынке. С 1822 г. Грибоедов состоит в штабе главноуправляющего Грузией генерала А. П. Ермолова «по дипломатической части» в Тифлисе. Здесь написаны два первых акта комедии «Горе от ума», задуманной, по свидетельству С. Н. Бегичева,

ещё в 1816 г. В 1823-1825 гг. Грибоедов был в длительном отпуске. Летом 1823-го он пишет в тульском имении своего друга Бегичева 3-й и 4-й акты комедии «Горе от ума». Осенью того же года написал вместе с П. А. Вяземским водевиль «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом», музыку для которого сочинил А. Н. Верстовский. Летом 1824 г. Грибоедов завершил окончательную обработку текста комедии «Горе от ума».

В конце 1825 г. Грибоедов возвратился на Кавказ. После успеха на литературном поприще, дружеских общений с декабристами (К. А. Рылеевым, А. А. Бестужевым-Марлинским, А. И. Одоевским и др.), встреч с деятелями Южного и Северного обществ (М. П. Бестужевым-Рюминым, С. И. Муравьевым, С. П. Трубецким и др.) у Грибоедова зрели замыслы новых произведений, дошедшие до нас лишь во фрагментах. План драмы «1812 год» (1824-1825) свидетельствует о том, что Грибоедов предполагал изобразить героев Отечественной войны, среди которых – крепостной крестьянин, изведавший в боях чувство высокого патриотизма; возвращённый по окончании войны «под палку своего господина», он кончает жизнь самоубийством. Дошедшая до нас в отрывке и в пересказе Ф. Б. Булгарина трагедия «Грузинская ночь» (1826-1827), основанная на народном грузинском предании, проникнута антикрепостнической мыслью. План трагедии из истории Древней Армении и Грузии «Родамист и Зенобия» показывает, что Грибоедов отдавал, с одной стороны, дань склонности к историческим исследованиям, а с другой – политическим проблемам настоящего, перенесённым в далёкую эпоху, он размышлял о царской тирании, провале заговора вельмож, не опиравшихся на народ, о роли народа и т. д.

После разгрома восстания декабристов Грибоедов был в январе 1826 г. арестован и привезён с Кавказа в Петербург. С 22 января по 2 июня 1826 г. Грибоедов находился под следствием по делу декабристов. Его спасло отсутствие прямых обвинительных материалов, самообладание на допросах, счастливое стечение некоторых обстоятельств, ходатайство А. П. Ермолова и родственника Грибоедовых, фаворита Николая I – И. Ф. Паскевича. После возвращения в сентябре 1826 г. на Кавказ Грибоедов выступает уже как государственный деятель и выдающийся дипломат. В 1827 г. ему предписано ведать дипломатическими сношениями с Турцией и Персией. Грибоедов принимает участие в вопросах гражданского управления на Кавказе, составляет «Положение по управлению Азербайджана», при его участии были основаны в 1828 г. «Тифлиссские ведомости», открыт «рабочий дом» для женщин, отбывающих наказание. Грибоедов составляет вместе с П. Д. Завелейским проект об «Учреждении Российской Закавказской компании», чтобы поднять промышленность края. В 1828 г. принимает участие в Туркманчайском мирном договоре, заключённом с Персией. Затем он назначается полномочным послом в Персию. Грибоедов рассматривал это назначение не как «монаршую милость», а как «политическую ссылку», как «чашу страданий», которую ему предстояло испить.

В августе 1828 г. в Тифлисе, перед отъездом в Персию, Грибоедов обвенчался с Н. А. Чавчавадзе. Оставив жену в Тавризе, выехал с посольством в Тегеран. Здесь он стал жертвой заговора, во главе которого стояли Фет-Али шах и его сановники, подкупленные Англией, боявшейся усиления влияния России в Персии после русско-персидской войны 1826-1828 гг. Во время истребления русского посольства в Тегеране был убит толпой персидских фанатиков. Тело его было перевезено в Тифлис и похоронено на горе Св. Давида.

Грибоедов вошёл в ряд великих русских и мировых драматургов как автор комедии «Горе от ума». Отвергнутая цензурой (при жизни Грибоедова были опубликованы только отрывки в альманахе «Русская Талия», 1825), комедия распространялась в многочисленных списках. Впечатление от комедии было ошеломляющее. Декабрист А. П. Беляев говорил, что слова Чацкого о продаже крепостных «поодиночке» приводили читателей в ярость, декабрист И. И. Пущин спешил познакомить с выдающимся произведением опального Пушкина в Михайлов-

ском. Литературная полемика, разразившаяся вокруг комедии, свидетельствовала об её огромной общественной актуальности.

С момента появления в печати первых отрывков «Горя от ума», на протяжении столетия комедия Грибоедова стала объектом многочисленных критических оценок, в то же время она оказала значительное влияние на развитие русской прогрессивной общественной мысли. Уже в 1825 г. она подверглась яростным нападкам со стороны реакционной критики (М. А. Дмитриев, А. И. Писарев), утверждавшей, что комедия искажённо рисует русскую действительность, что главный её герой – сумасброд и пустослов, а язык комедии неровный и неправильный. Эти нападки вызвали отпор со стороны писателей-декабристов и их единомышленников. В статьях А. А. Бестужева-Марлинского, О. М. Сомова, С. Н. Бегичева, а также близкого в ту пору к декабристским кругам В. Ф. Одоевского утверждалось, что «Горе от ума» является классическим произведением русской литературы, что это живая картина московских нравов, что Чацкий, будучи во всём противоположен окружающему его обществу, является человеком, истинно любящим родину, что комедия написана живым русским языком, близким к народной речи. К высказываниям декабристов в некоторой мере примыкает отзыв А. С. Пушкина о «Горе от ума» в его письмах к Бестужеву-Марлинскому и П. А. Вяземскому (январь 1825). Пушкин, не соглашаясь с принципами создания образа Чацкого и мотивировкой его поведения, однако, добавил: «Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собой признанным. Следовательно, не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова». Комический гений Грибоедова Пушкин видел в создании «характеров и резкой картины нравов». «О стихах я не говорю: половина – должны войти в поговорку». Высоко оценил комедию Н. В. Гоголь. В статье «В чём же, наконец, существо русской поэзии и в чём её особенность» он раскрыл огромное общественное значение «Горя от ума». В 1839 г. К. А. Полевой предпослал 2-му изданию комедии статью «О жизни и сочинениях А. С. Грибоедова», являвшуюся первой критико-биографической работой о Грибоедове.

Большое место в критической литературе о «Горе от ума» занимает непревзойдённая по тонкости анализа статья И. А. Гончарова «Миллион терзаний» (1872). Свидетельством общественной актуальности комедии Грибоедова служит и переосмысление его персонажей в сатире М. К. Салтыкова-Щедрина (например, образ Молчалина в цикле «В среде умеренности и аккуратности», в романе «Современная идиллия»).

Комедия Грибоедова оказала огромное влияние на развитие русского театрального искусства. Явилась блестящей школой реализма для многих поколений актёров. Впервые в 1831 г. в ней выступили М. С. Щепкин (Фамусов) и П. С. Мочалов (Чацкий). Первые её постановки в Петербурге шли в урезанном цензурой виде. Для театров вне Москвы и Петербурга комедия была запрещена до 1863 г. Со 2-й половины XIX в. в «Горе от ума» проявили свой талант великие актёры Малого театра, МХАТа и др.: А. А. Яблочкина и В. Н. Давыдов, К. С. Станиславский и В. И. Качалов. В советское время постановка «Горя от ума» привлекала режиссёров разных творческих направлений – В. Э. Мейерхольда, В. И. Немировича-Данченко, Г. А. Товстоногова и др.

Часть первая

Сосед! на свете всё пустое:
Богатство, слава и чины;
А если за добро прямое
Мечты быть могут почтены, –
То здраво и покойно жить,
С друзьями время проводить,
Красот любить, любимым быть
И с ними сладко есть и пить...¹

Славно, забавно, на душе хорошо! Размышляя об этом, мысленно с лёгкой улыбкой читая стихи, Александр наблюдал, как в этот миг Якубович, высокий, плечистый, с яростью воткнул свою длинную драгунскую саблю в заснеженную, но всё ещё по-осеннему мягкую землю и зычно, раскатисто прокричал:

– Пора!

Громкий крик, внезапно раздавшийся в тишине просторного поля, угрюмо молчавшего под низким нахмуренным небом, толкнул высокого Иона в сутулую тощую спину. Ион в испуге метнулся вперёд, широко и неловко взбрасывая длинные ноги, старательно взмахивая правой рукой в вязаной толстой перчатке, после каждого шага тревожно обводя всех наивным вопрошающим и осуждающим взглядом.

Все зашевелились, задвигались. Злобно скалясь, сверкая бешеными глазами, молодой Шереметев сорвал фуражку взлохмаченной головы и не глядя отбросил её куда-то под куст. Секунданты в военных шинелях завозились у плоских чёрных лакированных ящичков, застывшими пальцами суетливо отпирая замки. Низенький доктор в чёрной шляпе и в чёрном штатском пальто невозмутимо толкался вдали, у трёх тонких обнажённых берёзок, постукивая сапог о сапог. Отрывисто раздавались невнятные быстрые приглушённые голоса. Хрустел свежий снег под толстой кожей подошв.

Накануне металась совсем зимняя долгая злая метель, нагоняя тоску. Ночью притихло, стукнул первый, лёгкий, ещё не привычный мороз. День выдался звонкий, здоровый, но серый, строго насупивший тяжкие тучи. Пар валит изо рта. Хотелось сильных движений и быстрого бега лёгких саней.

Как пенится вино прекрасно!
Какой в нём запах, вкус и цвет!
Почто терять часы напрасно?
Нальём, любезный мой сосед!..

Высокий чёрный цилиндр беспечно был сбит на затылок. Александр, совершенно согласный с любезным Гаврилой Державиным, неслышно бормоча эти бодрые строки, отодвинулся несколько в сторону, чтобы не помешать поединку. Тонкие длинные ноздри, широко раздуваясь и вдруг опадая, жадно хватали морозную бодрую свежесть. Он весь был празднично возбуждён, и от этого возбужденья ему становилось нетерпеливо и жарко и трудно на месте стоять. Насмешливо улыбаясь, спокойно и прямо глядя на хлопотавших друзей, неизменных спутников всех его шалостей, которым предавался напропалую уже целый год, он рывками

¹ *Сосед! на свете всё пустое...* – Г. Р. Державин «Философы, пьяный и трезвый» (1789).

сдёрнул с верхних петель крючки, но хлынувший холод не остудил разгорячённую грудь. Ему не терпелось ввязаться в это весёлое, в это славное дело. Озорство и азарт переполняли его. Он переступал с ноги на ногу, ожидая, когда и его наступит черёд и он подойдёт к длинной сабле и уж покажет, покажет себя.

А тем временем Ион, нескладный и тощий, бормоча по-немецки, смешно путаясь в долгополой русской, застёгнутой наглухо шубе, с торопливой медлительностью отмерял роковые шаги. Лицо, костистое, длинное, с колбасками рыжих немецких бачков, было растерянным, бледным и совсем некрасивым, ещё некрасивей, чем бывало всегда. Припухлые красные губы испуганно и виновато приоткрывались.

Чего же он медлит? Экий болван!

Наконец Ион встал, и рядом с ним воткнули в землю ещё одну саблю, короче, гвардейских гусар. Ион заворожённо, непонимающе глядел на неё. Ему кричали, призывно махая руками: – Богдан Иваныч, подите сюда!

Но бедный Ион всё не двигался с места с этим своим застывшим, смущённым, недоумевающим взглядом, когда всё это было так весело, так хорошо, чудак человек!

Между саблями было отсчитано десять шагов, – это ли пристойное расстояние так сильно смущало учителя, иное ли что? Э, да чёрт с ним!

Чёрные петли кистей, украшавших эфес, мерно раскачивал низкий незлой порывистый ветер.

Глядя как будто на эти чёрные петли, бедный Ион, казалось, готов был заплакать, чего доброго, ещё зарыдать.

Александр улыбнулся открыто, довольно, чуть не смеясь. Он нарочно вытащил своего неуклюжего учителя-дядьку на эту двойную дуэль. Один вид пистолета бросал доброго, sentimentalного Иона в мелкую дрожь. Ещё будучи, заботами матушки, наставником и гувернёром, Ион частенько сопровождал его в тир по обязанности, однако вечно оставался за дверью, где его мучили совесть и страх, и старательно забивал свои длинные уши хлопчатой бумагой, и сбивчиво, повторяясь и торопясь, бормотал и путал молитвы, которые оберегли бы порученное его попечению хоть и взрослое, но неразумное детище.

Теперь Александр с удовольствием глядел на него сквозь стёкла очков. Взъерошенный, встрёпанный, Ион напоминал ему зайца, присевшего на задние лапы и вытаращившего с испугу глаза. Его подмывало вдруг свистнуть в два пальца и поглядеть, как ошарашенный Ион скачками забьётся в сплошные кусты и спрячется в них. Он не свистел, жалея наставника-друга, но про себя насмешливо повторял:

«Небось уши здесь не заткнёшь... Привыкай, привыкай, Богдан-Иоганн...»

Завадовский, чопорный и прямой², изображая прирождённого родового британца, подошёл своим обыкновенным, размеренным, точно искусственным, деланным шагом и сказал по-английски негромко несколько сухих, простучавших как игральные кости, отрывистых слов.

Ион усиленно закивал в знак согласия и поплёлся, сутулясь, шмыгая толстым пористым носом, и широкая русская шуба, точно зипун на жирафе, нелепо болталась на узких костлявых плечах.

Александр, оглядывая картину, с наслаждением ощущал своё лёгкое сильное тело. Голова хорошо и сладко кружилась, как от первого хмеля. Он насмешливо повторял:

«Ай-шагай, Богдан-Иоганн... ай-шагай...»

Его кружила любезная ему бесшабашность. Может быть, в первый раз испытал он это отличное чувство на балу у кичливого старого польского пана, твёрдо мог бы сказать, что запомнил, что в первый раз. С той поры бесшабашность завлекала, бесшабашность манила его,

² *Завадовский, чопорный и прямой...* – Речь идёт о графе Завадовском Александре Петровиче (1794-1826), камер-юнкере, сослуживце Пушкина и Грибоедова по Коллегии иностранных дел.

как вино. Он и счастлив бывал лишь тогда, когда безумная бесшабашность завлекала его чёрт знает куда. Хорошо!

Ему тоже поднесли пистолеты на выбор. Он взял свой не глядя; не снимая перчатки с нагретой руки. Время у него ещё было: он стрелялся вторым.

Он стоял, откинув задорную голову, упираясь узким затылком в твёрдый поднятый воротник, делая сильный размашистый выдох.

Он не хотел, чтобы очки его запотели: стёкла протирать на барьере было бы слишком смешно.

Над прочими смеяться приятно – над собой давать смеяться грешно, не позволительно, если не глупо. На дуэли очки и без того довольно смешны, но, может быть, благодаря изяществу и беспечности поведения его очков не приметит никто.

Он достаточно натерпелся от них. Среди офицеров боевого полка он был единственный очкастый корнет. Юность тоже протекла одиноко. Он с увлечением изучал философию, словесность, историю, право, а в гусарском мундире он и сам представлялся себе неловок и неуклюж, как этот Богдан-Иоганн, который в самом деле пугливо совался в кусты, сбивая гирляндами снег. И служить пришлось в кавалерийских резервах, а не в полках, которые дрались под Лейпцигом и брали Париж. Свою дерзкую храбрость выказать было решительно негде. Её заменяла небрежность кавалерийской посадки и задорное во всём щегольство. Пришлось-таки повозиться с собой, отучаясь от матушкиной хлопотливой опеки. Поначалу гусарский мундир сидел на нём едва ли не так же смешно, как на Ионе долгополая русская шуба. А тут ещё эти очки.

Он с высокомерной улыбкой смотрел сквозь нижний край этих крохотных узеньких стёклышек, которые придавали резкость и чёткость воткнутым саблям, кустам и фигурам друзей, составлявшим картину приготовлений. Противники уже шли от барьеров к местам. На таком расстоянии ему виделись одни силуэты, и каждого из друзей он узнавал по походке, по манере держать пистолет.

Налево Завадовский выступал не спеша, нагнув остриженную по-английски короткую круглую голову, брезгливо стараясь попасть в проложенный Ионом след. Пистолет держал в левой руке, правую согревал за отворотом шинели, это надо заметить Себе.

Шереметев³, в распахнутом кавалергардском мундире, почти бежал на позицию, размахивая крепко стиснутым кулаком, прижимая к груди пистолет, спотыкаясь и увязая в глубоком снегу.

Поле боя близких друзей было открытым и плоским. Порывистый ветер, тёплый, влажный, на оттепель, свободно проносился по просторам его. Люди ёжились, сохраняя тепло, и прятали непривычные, ещё не зимние лица.

Один Шереметев открыто и жарко стоял на ветру, молодец! Этому мальчику, нелепому юноше, всегда и во всём улыбалась судьба. Большая карьера, по влиянию и связям отца, ждала его впереди. В мальчишеской фигуре выражались отвага и нетерпенье. Боковой ветер бросал ему в глаза подвитые тонкие кудри. Шереметев беспокойно и торопливо отбрасывал их, уже готовя свой пистолет.

Александрю нравился этот порывистый мальчик. Шереметева задор и весёлость заражали его. Томление духа, от которого тяжело страдал, оставаясь часто один, рядом с ним пропадало бесследно. Ему становилось всё нипочём. Рядом с этим удалым поручиком, только что получившим штаб-ротмистра, он готов был пускаться в любые дурачества. Полковая лихость возвращалась к нему.

Он едва различал сквозь стёкла очков взбудораженные глаза и по-детски обиженный рот. По открытой напряжённой нервной фигуре он угадывал ему милые решимость и удалство. Он

³ *Шереметев* Василий Васильевич – офицер кавалергардского полка, убит на дуэли графом Завадовским.

этим мальчиком любовался и хладнокровно ждал продолжения, надеясь увидеть превосходный спектакль.

Завадовский тоже встал на отведённое место, сосредоточенно потоптался, приминая пушистый рассыпавшийся снег, и коротким, сильным движением прямых мускулистых плеч наконец сбросил шинель. Шитый мундир камер-юнкера был Завадовскому очень к лицу. Высокий воротник и жабо подпирали небольшой, но крутой подбородок, отчего круглая голова с горделивым спокойствием держалась на широких плечах.

И вот противники были готовы. Оставалось подать последний сигнал. Вездесущий стремительный Якубович⁴ с гривой чёрных жёстких волос что-то запальчиво говорил секундантам. Секунданты ему возражали. Противники ждали, пока кончится неуместный, затянувшийся спор.

Все они были приятели, многие были друзья. Всё их роднило между собой: воспитание, отгремевшая недавно война и победа, привычки беззаботных праздных гуляк. У них были почти одинаковые взгляды на всё, общие квартиры, общие кошельки. Им одинаково грезилась доступные женщины, громкие подвиги, которых не успели они совершить на поле сражений, и привольная, бесшабашная жизнь. Они развлекались, дурачились вместе, отправлялись вместе в театр, вместе неистово-громким аплодисментом вызывали одних и тех же пылко любимых актрис, вместе напевали модные арии, вместе кутили всю ночь напролёт.

И если один из них за вздор, за пустяк вызывал к барьеру другого, им, стоявшим насмерть при Бородине и при Красном, эти вызовы не казались серьёзны. Поединок бывал для них только острой потехой, как чёрный перец в пресной еде, лишь бы кровь побежала быстрее.

Возраставшее возбуждение отвлекало его от этих спокойных и потому посторонних теперь уже мыслей. Александр зорко следил, сильно щуря глаза, как на середину выбирался Каверин, красивый гвардейский гусар, привыкший к седлу и паркету, прославленный дерзким бретёрством⁵. Он различал, как тот увязал в молодом глубоком снегу и путался в полах длинной шинели. Он улыбался и думал:

«Гусар без коня – не гусар, гусар без коня – эпитаграмма...»

Он чувствовал себя как в тот ослепительный вечер. Он даже выгибался немного в спине, ощущая гибкое тело, шалея от буйного кипения сил, взбудораженный до ледяного спокойствия истинной смелости. Ни о чём он больше не думал, иного ничего не хотел.

Собираясь в тот вечнопамятный вечер на бал к кичливому старому польскому пану, они выпили всего по стакану шампанского, надеясь поздней наверстать. Все пятнадцать пуговиц были застёгнуты доверху. Сапоги сверкали чёрным огнём. На ментике матово отливало золотое шитьё⁶. От начищенных шпор разливался серебряный звон. Они выскочили, рассыпая его, на крыльцо. Крыльцо освещалось подвесным фонарём. За потемневшим от нагара стеклом дрожало широкое пламя толстой свечи. Свет и тень метались и двигались у порога, а вдали густела осенняя кромешная тьма.

Его охватила бодрая свежесть наступающей ночи. В нём всё росли весёлость и сладкая бодрость порыва, неизвестно куда и к чему. Его растущим клокочущим силам необходим был необъятный простор. Хотелось без усталости мчаться куда-то, вскочив на коня. Хотелось свершать и творить, что-нибудь, всё равно.

⁴ *Якубович* Александр Иванович (1792-1845) – капитан Нижегородского драгунского полка, участник восстания 14 декабря.

⁵ *Каверин... прославленный дерзким бретёрством.* – Каверин Пётр Павлович (1794-1855), поручик лейб-гвардии гусарского полка (1816-1819), член «Союза благоденствия». Впоследствии полковник в отставке. *Бретёрство* – от бретёр (*фр.* bretteur, brette – шпага) – заядлый дуэлянт, задира.

⁶ *На ментике матово отливало золотое шитьё.* – Ментик – предмет гусарской униформы, верхняя куртка, расшитая шнурами и опушённая мехом.

Под серебряный звон, шутя и толкаясь, они сбежали с крыльца. В круг неяркого жёлтого света, который дрожал и мотался, денщики подводили холёных кровных коней, и они с молодым беспечным проворством прыгали в сёдла, едва касаясь стремян. В нетерпении сытые кони перебирали ногами. Скрипела кожа седла, звякал металл о металл, взлетали в ночи возбуждённые голоса.

Они поскакали в чёрную тьму. Подковы гремели о тёсаный камень дороги. Впереди сияли окна огней. В этих окнах маняще мелькали чьи-то фигуры. Польский нёсся зазывно всё громче навстречу. Радость рвалась через край, и дорога показалась слишком короткой: он не успел насладиться бешенством скачки, как они уже были на широком мощёном дворе, у залитого светом крыльца, перед разостланным пёстрым ковром.

Здесь стояли, ходили, перебежали лакеи, все в красных кафтанах и галунах. С мраморной лестницы красное сукно сползало прямо к коврику. Перила пестрели гирляндами дорогих оранжерейных цветов. По бокам, из плетёных корзин, смеялись загадочно красные и белые пышные розы. Игривая бойкая военная музыка несла и кружила ослепительный вальс.

Они спешивались, бросали поводья подбежавшим подобострастно лакеям, входили, снимали сабли и кивера⁷. Он один оставался в высоком кавалерийском седле, зацепившись шпорой за стремя. Над шпорой хлопотал невысокий неуклюжий старый лакей. Такая задержка его звонкую радость опалила стыдом. Вечно что-то мешало ему быть таким же, какими были они. Всё вздор да пустяк, а гляди, неприятели злорадно острили и друзья снисходительно потешались над ним. Всё не удавалось быть с остальными на равной ноге.

И он страстно мечтал совершить невозможное. Он ощущал, что храбрости, мужества, сил и ума у него предовольно на всё, надобно только решиться, надобно дать себе самому широкий простор, пусть-ка силы его развернутся вовсю, и он одним духом выплеснет всю свою мощь, чтобы видели, знали, восхищались и приходили в восторг.

Однако же что, однако же как совершить?

Вот никто же из братьев гусар не угораздился зацепиться за обыкновенное кавалерийское стремя. Они хладнокровно и лихо подкручивали усы, готовясь войти и предстать перед польскими панами во всём неотразимом своём молодечестве. Если кто-нибудь из них невзначай обернётся, все будут знать: у них один-единственный есть в штабе круглый дурак. В любую секунду он у всех на глазах должен был потерять своё редкое счастье, а с ним вместе достоинство, может быть, честь. У него оставался один только миг.

И что же?

Он готов был переломить эту чёртову шпору, но знал, что этого сделать нельзя, и отчаяние душило его, и возбуждённые шампанским и весёлостью силы его клокотали, он явственно видел, что непростительно неловок, возмутительно глуп. Он вдруг испугался ярких огней и снующих лакеев. Его подстрекал на что-то пленительно-дерзкий мотив, вырывавшийся из празднично освещённого зала. Он жаждал избавиться, поскорее высвободиться из нелепости своего положения, а пуще всего избавиться от стыда. Голова его кругом пошла. Он себя потерял.

Невысокий неуклюжий старый лакей наконец отцепил злосчастную шпору. Он рванул дерзко повод, шпоры впились точно сами собой. Ничего не подозревавший скакун взвился на дыбы и прыгнул вперёд. Промелькнули усы, зеркала и цветы. Стальные подковы ударили по гранитным нижним ступеням, покрытым толстым сукном. Он слышал, как мягкое сукно оседало, сползая, под ним. Он ощущал всем струной натянувшимся телом, что его конь вот-вот может соскользнуть назад и упасть, погребая его под собой. Он готов был взлететь и кошкой изгибался в седле, приподнявшись на стремянах, страшась опуститься и тяжестью тела осла-

⁷ *Кивер* – головной убор русских войск (1807-1862) в форме усечённого конуса.

бить задние ноги коня. Ментик хлопал его по спине и тоже был слишком тяжёл, и кивер сполз на затылок, удержанный лишь ремешком.

Он не успел оглянуться, как очутился на довольно просторной площадке. Лестница вдруг раздвоилась. Сукно, белый мрамор, истошные визги гостей. Он успел повернуть в последний момент. Конь взлетел в три скачка и ворвался как вихрь в беспечно танцующий зал. Музыка, крики, аплодисменты, огни. Его торжественно, с одобрительным смехом стащили с седла. Он сделался шумным предметом восторгов и осуждений. Дамы наперебой выбирали его. Он сделался героем этого бала. Общее внимание было как раз по нему. Никогда ещё не испытывал он такого рода блаженства. И вот блаженство приближалось к нему в другой раз. В этот миг Александр ощущал себя выше ростом, чем был, он испытывал несравненное удовольствие всё глубже прогибаться в спине, он с нетерпением ждал, когда наконец настанет черёд легко и небрежно выйти на отмеченный драгунской саблей барьер, подставить себя под слепую пистолетную пулю и с прекрасной улыбкой выстрелить в небо.

Нарушая все правила поединка, Якубович в грозных усах топтался возле чрезмерно возбуждённого Шереметева и что-то настойчиво тому говорил, демонически вперившись прямо в пылавшие гневом глаза. Каверин выбрался наконец на середину дистанции и кашлял, прочищая, должно быть, застывшее горло. Якубович, махнув Шереметеву, на этот кашель стал отбегать. Каверин с игривой торжественностью вскинул правую руку, элегантно обтянутую парижской перчаткой, отчётливо скомандовал «три», взмахнул неторопливо, небрежно и, вновь увязая в глубоком пушистом снегу и путаясь в длинных полах шинели, отступил в безопасное место. Якубович повернулся к нему, глядя враждебно и с вызовом, дёргая ус.

Александр хорошо различал силуэты и жесты и потому остро чувствовал на себе этот вызывающий взгляд, однако не отвечал на него, а глядел, боясь пропустить, точно в партере сидел и с каким-то содроганием ждал, когда выйдет Катерина Семёнова⁸.

Завадовский всё стоял, задрвав круглую крепкую голову, круто выгнувши правую бровь, как делал всегда, холодно ожидая, точно изготавливаясь поднять пистолет, но всё ещё не поднимая его.

Шереметев сорвался, точно ужаленный, с места. Широко и порывисто двигались длинные, нескладные по-мальчишески ноги. Порывистое дыхание вырывалось со свистом. По-звериному ощерился капризный чувственный рот. Рука поднялась стремительно, резко. В то же мгновение, как она поднялась, грянул выстрел, почти без прицела, навскидку, как в тире бьют по тарелкам. Пуля свистнула нежно и пробила Завадовскому, стоявшему боком, как должно, воротник сюртука.

Склонив голову, кося глазом, Завадовский поцарапал дырку от пули скрюченным пальцем и протянул удивлённо, позабывшись, по-русски:

– А, он на жизнь мою посягал.

И двинулся спокойно и тихо, всё стараясь попасть в чужой след красивым, стройным, начищенным сапогом, и крикнул негромко, но властно:

– К барьеру!

Ощерившись ещё злей, Шереметев почти пробежал пять шагов и встал к противнику боком, прикрыв по-мальчишески узкую несильную грудь своим разряженным пистолетом.

Каверин весело крикнул:

– Оставь его, Александр!

Остановившись точно возле воткнутой сабли гвардейских гусар, на эфесе которой по-прежнему тихо покачивалась тяжёлая кисть, Завадовский подумал недолго и спокойно сказал, вновь по-русски, чуть приподняв пистолет:

⁸ ...когда выйдет Катерина Семёнова. – Екатерина Семёновна Семёнова (1786-1849) – русская актриса. Прославилась на петербургской сцене (1803-1836) в трагедиях В.А. Озерова, Ж. Расина.

– Хорошо, я выстрелю в ногу.

У Александра вдруг замерло сердце: все знали, что Завадовский в искусстве стрельбы сравнивал себя с самим Россом, англичанином, капитаном, убивавшим ласточек на лету.

Дуэль в самом деле обещала сделаться острой шуткой, немного, быть может, болезненной, с несколькими каплями пролитой мальчишеской крови, это и пусть, мальчишка шальной, ну и что ж, пустяки, у мальчишек кровь дешева.

Александр с Завадовского, глаз не спускал.

Вот вспыхнул порох на полке беглым огнём, однако ж, к досаде, вышла осечка.

Секунданты, подбежав мелкой рысью, подсыпали новый.

Вторая.

Нервы натянулись, как струны, бодря и немного кружа: вот оно как, вот оно как...

Шереметев, резко вскинув лохматую голову с трепетавшими на ветру подвитыми кудрями, вдруг ожесточённо и в то же время презрительно вскрикнул:

– Убей меня, Сашка, убей, не то мы в другой раз станем стреляться, и я, вот увидишь, по тебе второй промах не дам! Слышишь, я тебя пристрелю, как собаку!

Завадовский посмотрел на него вопросительно, между тем как вновь на полку подсыпали порох, отсыревший, должно быть, да заодно поправили кремень.

Шереметев, не отходя от барьера, подозвав Якубовича взмахом руки, намеренно громко и угрожающе приказал:

– Заряди пистолет!

Ну, хорошая шутка превращалась мальчишкой в дурной водевиль. Александр подосадовал на шкодливого Ваську. К тому же у него начинала мёрзнуть рука. Представление слишком затягивалось и уже утомляло его, к тому же, простите, здесь не партер. Он был решителен, дерзок и смел, для него всё удовольствие поединка заключалось в стремительной лёгкости, от которой хотелось смеяться, обниматься с друзьями, пробки пульей пускать в потолок.

Он подумал, поправляя очки, что рука может застынуть совсем, именно с ним это дело нехитрое, и он не сможет сделать свой выстрел с той изящной небрежностью, ради которой, собственно говоря, явился сюда, и, чего доброго, попадёт в положение неловкое, в какое попасть не хотел, а всё Васька-дурак – верещит.

Он продолжал с любопытством смотреть чужую дуэль, переводя взгляд с одного приятеля на другого, но уже хотелось кончить всё поскорей, прыгнуть в низкие санки, завернуться в широченную звериную полость, долететь до трактира, напиток горячего чаю, прибавляя для пущей крепости рому, согреться, куда-нибудь явиться на вечер и язвительно высмеять всех, просто так, не имея злости ни на кого: уж больно люди смешны, да и только. О Шереметеве он бы сказал...

Выстрел хлопнул.

Завадовский небрежно отшвырнул пистолет, издали похожий на чёрный чубук, и разряженный пистолет упал в снег и сразу исчез.

Шереметев в ответ потянулся всем телом, точно вставал на носки, собираясь что-то с полки достать, припрыгнул смешно, дрыгнул вяло ногой и тоже повалился на снег, почти сливаясь с ним белым мундиром.

Завадовский неторопливо отступил от барьера, поднял шинель и принялся заботливо, тщательно сбивать с неё снег.

Все разом побежали к упавшему.

Шереметев, обхватив какими-то большими ладонями пробитый пулей живот, нырнул в пушистом снегу, точно выброшенный на берег карась, и жадно хватал его уже восковыми губами.

Каверин, взглянув на приятеля опытным взглядом военного человека, выдавшего всевозможные раны, полученные в бою, протянул с равнодушной усмешкой:

– Вот тебе, Васька, и редька.

Эта выговоренная хорошо по-французски, по-французски же легкомысленно искажённая русская редька вдруг жестоко оскорбила его. Александр успел быстро подумать, что русский народ в иных случаях спрашивает незадачливого соседа, хороша ли репка, и хотел было прикрикнуть: «Не смей!» – да язык не повиновался ему.

Якубович, оскалясь, взвизгнул и выстрелил в воздух, высоко подняв пистолет.

Завадовский, уже надевавший шинель, с удивлением посмотрел на глупо стрелявшего.

Якубович, не глядя в ту сторону, выругался грубо, по-русски и прокричал онемевшему Александру:

– А я с вами потом, уж потом!

Пожилой полный доктор, сгибаясь, неспешно, с трудом, действуя привычными пальцами с осмотрительной ловкостью, взрезал на Шереметеве суконные брюки и шёлковое голубое бельё, широко обнажил уже неестественно вспухший живот, сморщив полные губы, небрежно, точно для вида, ковырнул бескровную чёрную дырку в правом боку, бросил зонд в саквояж, который держал перед ним услужливый Ион, властным жестом потребовал хирургический нож, твёрдым мгновенным касанием чуть надрезал левее и выше и, вновь ковырнув, двумя пальцами вынул из раны покрасневшую пулю.

Шереметев глухо беспрерывно стонал сквозь обнажённые, странно белые, накрепко сжатые зубы. Потемневшее чужое лицо стало удивлённым и детски наивным. Прищуренные глаза глядели бесстрастно и жалобно в низкое небо из-под длинных, пушистых, девически загнутых вверх ресниц.

Александр по всем этим признакам угадал, что Шереметев уже без сознания, но не понимал, что стряслось, отчего шалый Васька валяется на белом снегу и старый хирург деловито ковыряет у него в животе.

Весь ощерясь, с вставшими дыбом усами, не взглянув на лежавшего Ваську, Якубович выхватил красную пулю у доктора, который неторопливо поднимался с запорошенных снегом колен, крепко стиснул комочек немного металла в правой руке и запальчиво, хрипло твердил, грозно вращая мосластым большим кулаком, адресуясь к уходившему к своей английской карете Завадовскому:

– А эта тебе, Сашка, эта тебе, погоди, погоди у меня!

Шереметева неумело, с виноватыми лицами взяли под мышки и за бессильные ноги, подняли, понесли с запрокинутой, недержавшейся головой, и странно длинной казалась детская тонкая шея с выступившим вверх заострившимся кадыком, и мокрые волосы страшным комом прилипли к затылку.

Заворожённо следя за всем этим, несколько раз протеревши перчаткой очки, отчётливо различая все фигуры и жесты, Александр по-прежнему не понимал ничего, словно сзади его неожиданно ударили палкой. В голове всё звенело и путалось. Он густо, пепельно побледнел, и руки мелко тряслись, и ствол пистолета металлически оглушающе громко несколько раз провизгнул по пуговице.

Вся история была скорее забавной, смешной и вдруг сделалась такой нелепой и скверной. Ведь нельзя же, абсолютно нельзя стреляться всерьёз из-за женщины, какой бы женщина ни была, даже неверной тебе, неверность у женщин случается часто, как-то без умысла, сама собой, все таковы, и уж коли стреляться охота пришла, так пристало стреляться шутя, пристало стреляться вовсе не так...

Васька Шереметев, зелёный юнец, ещё не успевший пристегнуть эполеты штаб-ротмистра, был сослуживец Степана⁹, кавалергард, по связям отца с полком не пошёл. Степан

⁹ ...сослуживец Степана... – Имеется в виду Степан Никитич Бегичев (1785-1859) – беллетрист, близкий друг А. С. Грибоедова.

теперь был в Москве вместе с гвардией, ушедшей походом на торжества. С августа был, недавно совсем, или слишком давно?

Александр хмурил лоб, напряжённо определяя, давно или нет, с августа, с августа, а нынче нехстати ноябрь, как будто пытаюсь то оттолкнуть от себя, чтостряслось у него на глазах с этим весёлым, добрым, но бешеным Васькой, в то же время безотрывно следя, как неуклюже согбенный Ион старался попасть с Кавериним в ногу, но попасть с равнодушным Кавериним в ногу Иону не удавалось никак, в этой шубе скоморох скоморохом, и, западая всё ниже, голова Шереметева жутко моталась, как маятник, тихо, мерно, бесшумно, а те всё несли и несли вразнобой, как мешок.

Нет, как будто вчера простились по-братски в Ижорах, ещё силач Поливанов, дурак, невысокий да жилистый, чёрт подери, так сердечно облапил его, что всего исковеркал, точно медведь, и вот руками он не владел, словно с тех пор, а спины так не чувствовал вовсе. Только очень холодно было, не август, иная пора, ледяные мурашки ползли. Вот каково водиться с буйными юношами... Боже ты мой...

Ведь был бы Степан, с его серьёзным флегматичным спокойствием, с его здравым смыслом, с его заразной трезвостью и, главное, главное, с его таким ясным, таким истинным, верным чувством добра...

Ведь коли сам духом слаб, всегда рядом должен быть тот, в ком воплощена твоя не всегда твёрдая, не всегда трезвая, не всегда бодрая совесть...

Вот оно как...

А тоже был когда-то кутила, лихач, да вдруг повзрослел, в один день, и нынче куда как не тот...

Что же нынче?..

А нынче нету его...

Остановил бы, однако, остановил...

Когда сам духом слаб...

В их беззаботной, весёлой компании Шереметев отличался из всех светлой и чистой любезностью, пылкостью честного нрава, с сердцем добрым, благородным, отличным и был, разумеется, молодо ветрен, без оглядки, без смысла, готовый взглянуть самому дьяволу прямо в глаза, и за все эти славные свойства степенный Степан с любовным упрёком отца Шереметева называл шалуном.

Шалостей, в самом деле, было довольно. Всё ходило вокруг Шереметева ходуном. Никто утихомирить не мог из более опытных, уже хладнокровных, взрослых друзей, да и отец родной, кровный отец, не Степан, уже был готов отказаться, отречься от слишком блудного сына.

Каково-то родному отцу?..

Впрочем, отцы и всегда...

Что же? Уронят же так! Надобно снизу, снизу держать!

Безмолвно крича, Александр не двигался с места. Душа его онемела. Крупные слёзы дрожали, не проливаясь, в застывших глазах, повиснув на длинных, тоже девичьих, ресницах.

Он и сам иной раз присоединялся к нему, шалопаю, особенно в те забавные, остроумные вечера, когда Шереметева соглашалась сопровождать красавица молодая Истомина¹⁰, балерина, звезда, и они бесшабашно дурачились вместе, втроём всю ночь напролёт шатаясь по клубам или поднимая с постелей давно спавших друзей, чтобы пить с ними чай и смеяться.

И вот эта отвислая назад голова, ком намокших кудрей и холодное, серое, мертвенное лицо, всё в каком-то скользком, блестящем, жирном поту...

¹⁰ ...красавица молодая Истомина... – Евдокия (Авдотья) Ильинична Истомина (по мужу Якунина) (1799-1848) – балерина. С 1816 г. – ведущая артистка петербургской балетной труппы.

Вчера, всего лишь вчера, весь румяный с мороза, живой, с высокой вздымавшейся мальчишеской грудью, без зимней шинели, в одном сюртуке и в высокой военной фуражке, с искажённым лицом, Шереметев ворвался к нему в кабинет, с маху бросился в затрещавшее кресло, жалкий, здоровый и злой, скрипнувши белыми, ровными, молодыми зубами, хрипло прокаркал:

– Она изменила мне, Александр!

Он что-то читал... Да, он что-то неторопливо, серьёзно читал... Это был, должно быть, Мольер... Да, конечно, Мольер, и там, кажется, были слова Триссотена: «Восторг и в нас могли бы вы вдохнуть, решившись прочитать нам для финала произведение вашего пера», и он, едва без стука дёрнулась дверь, ещё раз схватил глазами последнее слово, чтобы вспомнить и тотчас потом возвратиться к нему, и вложил указательный палец между страницами.

Легко относясь к обычной мальчишеской ревности, столь знакомой и столь ненавистной ему самому, которой он вдоволь хлебнул, не поднимаясь с дивана, на котором уютно сидел, заложив ногу на ногу, отваясь благодушно назад, от Истоминой зная, как безнадёжно запутались их молодые капризные отношения, внезапно подумав, что, может быть, это и хорошо для обоих, что всё наконец разъяснилось, хотя и не было правдой, в чём он уверен был твёрдо, как ни презрительно относился к крикливому полу с тех пор, когда всё разъяснилось и у него самого, к тому же у него-то быв горькой правдой, он преспокойно, с тайным любопытством спросил:

– Ты с чего взял?

Шереметев, густо краснея, дико трясая головой, лохматой, не тронутой парикмахером, выкрикнул, пригибаясь, как кошка, к нему, точно готовясь за горло схватить:

– А ты будто не знаешь?

Именно об измене Истоминой он и не знал ничего, однако возбуждение и крик Шереметева настораживали его, хоть тот и мастак был по-пустому кричать, он улавливал в этом крике враждебность, которой между ними не было и быть не могло никогда, понять её причины не мог, про себя же решил быть осторожней, как надлежало обращаться с буйными юношами, которые не умеют охлаждать свои тёмные страсти холодным и трезвым рассудком, внимательно заглянул Шереметеву в шальные расширенные глаза и только сказал, негромко и ровно:

– Полно тебе.

Шереметев подпрыгнул и яростно взмахнул кулаком, напоминая кого-то этим жестом, Ваське чужим:

– Но ты должен знать, что мы с ней помирились!

Он тотчас подумал, что Истомина, тоже кокетка, дрянь в этом смысле, как все, неосторожно или с намерением в чём-то проговорила, увлечшись любовной игрой, лишь бы подзадорить, разгорячить, отуманить соблазном безумно влюблённого мальчика, на что крикливый пол куда как востёр, или с женской кошачьей хитростью наболтала какой-нибудь двусмысленной ерунды, чтобы что-то укрыть из невинных своих увлечений, безобидных, но всё-таки тайных, в чём сам же Васька был виноват, замучив её своей бешеной ревностью. Сообразивши эти подробности, он изобразил на лице удивление и негромко воскликнул:

– Ах, вот как? Нет, помилуй, откуда ж мне знать.

Шереметев нехорошо засмеялся, откидываясь в кресле назад, глядя на него прямым, злостью вспыхнувшим взглядом, тогда как сроду смеялся беззаботно, легко:

– Ну, это ты брось, Александр! У нас тут всё известно друг другу! После спектакля третьего дня я умолял её о прощении, но она не хотела простить и собралась к Шаховскому¹¹,

¹¹ *Шаховской* Александр Александрович, князь (1777-1846) – драматург, поэт, театральный деятель. С 1810 г. – член Российской АН. В 1811-1815 гг. входил в общество «Беседа русского слова». Руководил драматической группой и театраль-

этому своднику, этому плешивому подлецу, который подыскивает за хорошие деньги покровителей для своих хорошеньких учениц!

Его тотчас насторожили эти слова, именно то, что в их тесном кружке всё друг другу известно, одно за другим возникали предположения, что, в частности, стало известно в этом тесном болтливом кружке, кто и кому именно мог говорить, что Истомина не хотела прощать дурака, однако ж люди все слыли порядочными, как-то совестно было в чести их сомневаться, между тем что-то надобно было ответить в упор глядевшему на него Шереметеву, ответы проносились один за другим, да все как будто неосторожные для того, чтобы понапрасну не задевать слишком уж чуткое самолюбие и без того возбуждённого, растревоженного ревнивца, точно из Мольера сбежал, и он, слегка улыбнувшись, лишь бы выиграть время, сказал:

– Полно, не тебе на него обижаться, через него познакомился, чать, неблагодарность прекверная вещь, в толк это возьми, заруби на носу.

Шереметев вздрогнул, покраснел ещё гуще и продолжал, уже потише крича:

– Ну, да, да, чёрт возьми, я благодарен ему, и предложил ей подвезти, и завёз нарочно к себе, и грозил, разумеется, застрелиться, если она не останется и не простит, мой обыкновенный приём помогает всегда, славная вещь пистолет.

Стало быть, она сама говорила, что отправляется к Шаховскому, тогда чего же могли об ней передать, и тоном двойного презрения вырвалось у него:

– Сколько можно грозить бедной женщине пистолетом? Тоже, нашёл славную вещь!

Шереметев смутился и спрятал глаза:

– Вот видишь, и ты! Она мне то же сказала!

И с бешенством выкрикнул, сверкая глазами:

– Вы сговорились! Не лги! Застрелю!

Он вдруг догадался, что Шереметев, младенец, дурак, ревнует к нему, и, словно ни в чём не бывало, небрежно спросил:

– И что же она?

Шереметев ответил поспешно, брызжа слюной:

– Она простила, простила меня, этот ангел, и всё было снова между нами по-старому, но я страдал, я так страдал и не выдержал искушения и приставил ей к виску пистолет и твёрдо сказал, я шутить не люблю: «Говори или с места не встанешь, на этот раз даю тебе слово, была ты или не была с Грибоедовым?» Что ж ты молчишь?

Не виноватый ни в чём, кроме дружбы, сердечной и верной, придумывая правдоподобный ответ, который бы уgomонил неисправимого дурака, с ума от ревности кто не сойдёт, даже умнейший из нас, он сказал:

– Ты сперва доскажи, что там было меж вами.

Шереметев оскалился, в другой раз не сводя с него жёлтых расширенных глаз:

– Она мне призналась, что точно, была!

Этого факта не собирался он отрицать:

– Ты же знаешь, мы с ней друзья, как с тобой.

Задохнувшись, вновь пригибаясь к нему, Шереметев едва выдавил из себя:

– Ты со мной не юли... умник какой... я-то... уж я-то знаю, знаю тебя...

Сглотнул тяжело, провёл по горлу дрожащей ладонью и твёрдо прибавил:

– Она призналась ещё, что была с тобой у Завадовского.

В этом признании насмерть перепуганной женщины, с холодным стволом у виска, не было ничего, что бы компрометировало её, однако ей бы не следовало признаваться в этих вещах, хотя чего не сболтнёшь, когда пистолет у виска, экий балбес, замучил совсем, и он

ным училищем в Петербурге (1802-1826), среди его учеников – Е. С. Семёнова, В. А. Каратыгин. Пьесы Шаховского оказали влияние на молодого Грибоедова.

ощутил, что сейчас покраснеет и тем наделает немало беды, себе самому и ревнивцу, и лениво этак спросил:

– Ну, так и что?

Шереметев рванул крючки сюртука:

– А вот что: Якубович мне говорил, между нами, что он как-то слышал, как Завадовский звал Дуню к себе, лишь только она оставит меня, это как?

Досадуя на вездесущего дурака Якубовича, шалопая отменного, сына богатых родителей, коломенскую версту, который громогласно проповедовал всюду свободу, справедливость и что-то ещё и без конца мешался в истории, самые скандальные и самые пошлые, одна грязнее другой, в какие порядочному человеку вязаться нельзя, бездельник и баловень, дело слишком известное, быстро прикидывая в уме, что ещё стало известно в этом преболтливом кружке, где от нечего делать люди порядочные не брезгают грязными сплетнями, лишь бы развлечься немного и тем наполнить надоевшую праздность свою, либо спеша доказать, что с такими ни свободы, ни справедливости во веки веков не узришь, он попытался урезонить вздыхателя пылкого, обстоятельно перед ним развивая ту старую мысль, что все женщины ветрены без изъятия, что явление это бесспорно в истории нравов и что безоговорочно верят крикливому полу одни дураки, к тому же чего не наговоришь, когда пистолет, она же актриса, фантазии у неё, нервы и что там ещё, тут же поневоле опровергая себя заверением, что из всех женщин в этой самой подлой истории нравов Истомина есть исключение, о чём он и вправду подозревал, тоже, известное дело, дурак, и что она верность хранит и сама говорила вчерась, как всё ещё любит его без ума, то есть Ваську, заключая запутанную тираду смеясь:

– Я сам в любви чернее угля выгорел. Поверь, огорчаться не видно причин, даже ежели бы, к примеру, вся эта нелепость правдой была.

Но Шереметев упрямо мотал головой, с которой слетела фуражка, лохматый безмерно, в природных крутых завитках:

– Я тебя застрелю!

Что за напасть, так и станет всю жизнь каждому встречному пистолетом грозить, не ровен час, на кого налетит, и он, похлопывая книгой по раскрытой ладони, ни секунды не веря в реальность дурацкой угрозы, это Васька-то застрелит его, экий вздор, рассудительно, тоном старшего возразил:

– Не дури, меня-то за что?

Шереметев вспыхнул, сделавшись красным как рак, вскочил и стиснул детские ещё кулаки:

– Да мне Якубович сказал, что видал, что ты в карете ждал её у Гостиного и что она пересела к тебе! Это как?

Вмешательство дурака Якубовича, замечательного, пожалуй, одной страхолюдной гривой чернейших волос, влезавшего всюду, куда не просили его, в каждой мелочи, в любом пустяке тщась восстановить бесценную свою справедливость, то есть вечно бесчестность и деспотизм, чёрт возьми, и прочая дичь, взбесило его, как всякая пошлость и презренная скудость ума бесили всегда, и он слишком сухо, даже высокомерно спросил:

– Об чём же ещё доложил тебе Якубович?

Расставив длинные нескладные ноги, Шереметев по-мальчишески грозно стоял перед ним, воздевши правую руку, словно б на форуме или собираясь проклясть:

– Тогда я спросил его, это заметь, я его спросил сам, что мне делать, и после этого Якубович сказал, что это понятно, что драться, и что тут два лица, которые требуют пули, и из этого, как видишь сам, выходит парти карре, дуэль четырёх, стало быть, чёрт её поberi, а он берёт того на себя, а я вот должен драться с тобой, Александр!

Он вспыхнул, но улыбнулся так, как улыбаются не совсем удавшейся шутке, однако от души прощают её:

– Нет, братец, ты уж прости, а я с тобой стреляться не стану, а вот ежели уж так не терпится милейшему Александру Иванычу подставить свой медный лоб¹², так я всегда к услугам его, ты об этом ему передай, вгорячах не забудь.

Опустив руки, моргнув, Шереметев вскрикнул растерянно, злобно, однако ж с тоской:

– Передам, передам!

И вдруг выскочил вон, позабывши фуражку, и Сашка потом свёз фуражку Шереметеву в дом.

Зачем он сболтнул? Для чего? Для этого, для этого, да?..

Шереметева наконец положили.

Глядя, как Шереметев лежал, запрокинув бессильную голову, уставивши в низкое небо пустые глаза, Александр вздрагивал крупной, внезапной, неестественной дрожью, вдруг почувствовав остро, что это он, именно он и один, во всём виноват, окончательно и навсегда, озлившись тогда на непрошеное вмешательство вечного сплетника, не удержавши по этой дурацкой причине ревнивого, взбалмошного, слишком доверчивого и слишком неопытного, как в жизни, так и в любви, совсем ещё мальчика, в тенётах Амура, жестоких, пленительных, без стыда, вот в чём беда.

Кто-то выдернул у него из руки пистолет, разогнувши насильно сведённые пальцы. Кто-то, поддерживая под локоть, посадил его в поодаль ожидавшие санки. Полость намёрзла и сгибалась с трудом, когда ему прикрывали занемевшие ноги, но ко всему внешнему он был безразличен, подумав мельком, что извозчик мошенник, не просушил, бездельники все. Что-то тягучее, жуткое сосредоточилось в нём и давило, давило, обжигая запоздалым раскаяньем сердце.

Раскаяньем? Раскаянье что? Иль не раскаяньем – жалостью к тому, а больше к себе?..

Всю дорогу, которой он почти не приметил, отделяясь от безликого, пустого лица, на него глядели в упор голубые глаза Шереметева, Васьки, вопросительно, жалобно так, с глубоким смертным упрёком, точно хотели спросить, доволен ли он, не стыдится ли он за тот вечер, и уже ни о чём спросить не могли, всё сильней и сильней обвиняя в чём-то ужасном, непоправимо-постыдном его.

Он было хотел отогнать этот умоляющий страстно, чего-то упорно ищущий взгляд, да не в силах был отогнать, не поднималась рука, и сидел, то уткнувшись застывшим лицом в воротник, то бесцельно, невидяще глядя по сторонам, где что-то мелькало, чёрное с белым.

Он пропустил, когда они въехали в город. Он лишь приметил стену глухо молчавших домов, вдруг испугался, что приедет к себе и с этими глазами останется один на один, не оставят его, не отвяжутся, вон как глядят, и сдавленно крикнул, обращаясь неизвестно к кому:

– К Жандру, к Жандру пошёл¹³!

Он с благодарностью стал думать о том, с расчётом принуждая себя, что теперь, в ноябре, уже рано темнеет, почти в пять часов, и Жандр вечерами почти никогда не выходит из дома, всё чем-то занят, сердечный, и натура у него домоседа, но через минуту впал в забытие и в каком-то тёмном кошмаре видел только горящие гневом глаза, опоминался внезапно, по бокам различал слишком редкие, слишком тускло мерцавшие фонари и вновь, уже наяву, страдальчески видел те же глаза, расплывчато-голубые, молящие о чём-то страшно неотложном и важном.

В полутёмных сенях, с одной тонкой свечкой на столбике, неотступный Богдан-Иоганн, неуклюже топчась, потирая свои длинные побелевшие уши, торопливо, невнятно, придерживая его за плечо, с неожиданно сильным саксонским акцентом, который с годами почти потерял, полушёпотом изъяснил:

¹² ...ежели уж так не терпится милейшему Александру Иванычу подставить свой медный лоб... – т. е. Якубовичу А. И. (см. выше).

¹³ *К Жандру, к Жандру пошёл!* – Жандр Андрей Андреевич (1789-1873) – поэт, драматург, переводчик, друг Грибоедова.

– Поехал с ним Якубович. Доктор определительного ничего не сказал. Вам бы поскорее уснуть, Александр. Всё, может быть, обойдётся. Вы ложитесь, ложитесь, а завтра условимся, на случай чего.

Стоя с опущенной головой, плохо соображая разбитым умом, где он и что с ним такое стряслось, поражённый этим пристальным взглядом вопрошающих глаз, не оставлявшим его, он вяло, почти безразлично спросил:

– Ты поди, Богдан Иваныч, поди, небось тоже устал, ты поди-ка к себе, отдохни.

И не расслышал, не различил, ушёл ли верный Богдан-Иоганн, остался ли на случай при нём, верный друг, давно не слуга, только привычно укрывшись из глаз, как дельвал часто, наставник по-прежнему умён, пуще добр, а уж годы прошли, дитяtko выросло, поглядеть, так изрядный вышел дурак. То проваливалось, то вспыхивало жарким огнём в кружившейся голове:

«Коли сам духом слаб... Богдан-Иоганн...»

Жандр в зелёном длиннополом халате, высокий, худой, с тревожным лицом, с вопро-сительным, тоже ищущим взглядом, наконец появился в дверях и воскликнул с неуверенной радостью, протягивая длинные руки, чтобы обнять:

– Ты жив!

Его больно ударили, уязвили эти два облегчавших, всё упрощающих слова, и, сильно морщась, как от боли в зубах, он отвернулся от них, натужно стягивая шинель, негодующе бормоча:

– Как видишь, жив, это что.

Радуюсь всё смелей видеть лучшего друга живым, невредимым, всплеснув всполошённо руками, как баба, Жандр суетливо принялся ему помогать, с таким усердием таща борт шинели, что шинель не снималась никак, застёгнутая до самого верха, поспешно между тем расспрашивая его:

– С теми-то, с теми-то что?

Отстранивши чуть не в ухо бубнившего друга, прямо в шинели сев на сундук, опустивши тяжёлую голову, чтобы не смотреть на него, он едва слышно выдавил из себя:

– Васька, должно быть, убит.

Выпрямившись во весь высокий свой рост, по-гусиному вытянув длинную тонкую шею, Жандр испуганно, слабо спросил:

– Наповал?

Он стащил с головы ставший тесным цилиндр, давивший его, как чугун, не глядя сунул куда-то, нехотя пояснил:

– Пока нет, пуля в живот, станет мучиться день или два, не дай Бог, скверные раны, не бывает скверней.

Жандр ещё тише, ещё осторожней спросил, склонивши к нему небольшую, аккуратную, с короткими волосами умную голову:

– Якубович?

Он поднялся, рванул застёжки и одним грубым движением сбросил шинель:

– Якубович всегда будет жив! Сукин сын!

Жандр облегчённо вздохнул, двигаясь вокруг него осмотрительно, бережно, точно это он был подстрелен в живот, потирая сухие ладони, вопросительно заглядывая в глаза:

– Слава Богу, ты промахнулся?

Он вдруг обернулся, злобно сказал:

– Я ещё не стрелял!

Подхватив крепко под руку, точно опасаясь, что он упадёт, Жандр потащил его в кабинет:

– Да ты толком-то, толком-то всё доложи!

Ухватившись за это последнее слово, в канцеляриях всё доклад и доклад, говорить не умеют человеческим языком, он заволновался, тотчас сел в кресло, раздумчиво проговорил:

– Да, разумеется, всё доложу... доложу...

Жандр не отходил от него, склонившись, поправляя очки, матушка с малым дитятей, точный портрет:

– На тебе лица нет, что с тобой, Александр?

Он отмахнулся нетерпеливо вялой, непослушной рукой, какое в самом деле лицо:

– Ты садись, я же сказал: я доложу, я тебе всё доложу по порядку, полный рапорт отдам, что за чёрт!

И вдруг необдуманно, с покрасневшим, словно бы вздувшимся, жалким лицом, чувствуя только, что перед ним человек, который верно поймёт, что бы и как бы он ни сказал, он торопливо высказал то, что безмолвно, безвыходно всю дорогу терзало его под пыткой тех пристальных, осуждающих, Васькиных в сталь отливающих глаз:

– Вот видишь, Андрей, вся моя жизнь получилась не та!

Раскрыв широко, изумлённо глаза, Жандр медленно опустился на стул перед ним, став ещё выше, каланча каланчой, и, запинаясь, попробовал возразить:

– Что ты, что ты, Бог с тобой, Александр...

Он сморщился, спрятал в ладонях лицо, не в силах глядеть, бормоча едва слышно, скорей всего для себя одного:

– Как задумано было... сколько положено сил...

Жандр снова всплеснул всполошённо руками, словно больше делать ничего не умел, как руками махать, кокошник бы ему да чепец:

– Постой, Александр, ты не ранен?

Он вздрогнул и сердито, сквозь зубы, напомнил ему:

– Ведь мы не стрелялись, я тебе доложил, честь по чести, это Васька насмерть убит.

Жандр с недоумением протянул:

– Нет лица на тебе...

Опустив руки, подхватив эту вздорную мысль, твердя про себя, что лица на нём всё последнее время и вовсе не стало или, возможно, и не было даже совсем никогда никакого лица, а нечто невнятное, рожа одна, не заметил никто, чудеса, дурачье, обожжённый, униженный этим мрачным открытием, понемногу выбираясь из своего забытья, подняв глаза, с упрёком и грозно, он глухо спросил:

– Что здесь Якубович, вот именно: что здесь Якубович, с какого конца, коза на плацу, вот что ты мне лучше доложи по всем пунктам, вразуми, не пойму?

Испуганно оглянувшись, словно надеясь увидеть шального драгуна у себя за спиной, переводя затем на него тревожно вопрошающий взгляд, а ведь жив, не убит, Жандр негромко, ласково произнёс:

– Помилуй, Александр, здесь никакого Якубовича нет...

Усмехнувшись, не став отвечать на дичайшее подозрение хлопотливого доброго друга, что он ненароком повредился в уме, пытаясь сам осознать, с какой стати в отношении близких друзей встрял посторонний для них, балбес, балабол, вечно шумный и зычный, не голос, Иерихона труба¹⁴, неумный, конечно, однако с превосходными честнейшими мыслями на весь белый свет, как и принято нынче, все якобинцы, кричи да кричи, этот, как его, Якубович, правдолюбивый, вздорный на вид, с такими большими усами, точно чуя чутьём, что появление крикуна Якубовича могло бы как-нибудь ему разъяснить, что он сам в этой дурацкой страшной истории, мрачно глядя на стену, обитую блёклым пёстреньким ситцем, привозим из Англии,

¹⁴ *Иерихона труба* – по ветхозаветному преданию, стены палестинского города Иерихона рухнули от звуков труб завоевателей.

когда ткать свои ситцы пора, стараясь подавить раздражение, он беспокойно, раздёрганно про-изнёс:

– А я тебе говорю, что на одном Якубовиче эта кровь, на Якубовиче только одном!

Жандр отмахнулся:

– Полно тебе, Васька сам понапрасну бесился, шальной, пули просил сколько раз.

Да, разумеется, дело выходило именно так: Шереметев и слишком просился под пулю и часто выхватывал армейский свой пистолет, не дуэльный, угрожая тотчас себя застрелить в наказание кому-то, вечный укор, а пистолетом не шутят, не шутят, раз промолчал, другой промолчал, а там и стрельнул почём зря, однако ж вот он никому не грозил, никогда не просился под пулю, дело нехитрое, впрочем, трусом не будучи, а с трезвой головой на плечах, а всё ж таки, несмотря на всю свою трезвость хваленую, со всем своим глубоким умом, как Жандр об нём на всех углах не без римского пафоса говорит, был бессмысленно, непонятно кругом виноват, как об этом всё громче что-то твердило ему с каким-то упрямством, и, пытаясь пресечь этот настоящий неприятный внутренний голос, он напомнил хлопотливому другу:

– Вспылчив, вспылчив, да отходчив и добр, опоминался всегда, прощенья просил и всем сердцем обиды прощал, в соображенье нельзя не принять, какая ж на Ваське вина?

Жандр согласился легко и так же легко возразил:

– У него сердце отлично-доброе, благородное было, это всё так, я молчу, однако ж ты прими в расчёт всё безумие его бестолковых, животных страстей, от ревности был без ума.

Он вскинул горящую голову, неодобрительно взглянул сквозь очки:

– Страсти что ж? Всемогущество страстей всем известно, да человек благородный обязан и может дикие страсти свои побеждать!

В знак согласия Жандр закивал:

– Обязан и может, естественно, отчего ж, благородный-то человек, известная вещь. Да ведь Васька-то не был такой человек. Страшно влюблён, ты возьми себе в толк, воспитанье наше домашнее, то есть именно воспитанья-то нет, ум небольшой, образованность, почитай, не коснулась даже во сне, такому ли взять полный верх над страстями?

Ага, Шереметев был даже очень неглуп, остроумен подчас, хотя, правду сказать, образовал себя мало, так, кое-что почитал, впрочем, значительных авторов, по совету его, да всё недосуг, образования не добивался в поте лица, да в поте лица образование-то истинно не даётся, как не даётся и тяжкой школьной повинностью в заведениях наших, казённых, без радости знания, без света любви к добыванию истины, дело известное, обыкновенный трюизм, да всё это вздор, всё это чушь, безделки ума, а вот главнейшее то, что влюблённый безумен, даже если и слишком умён и образован стократ, науки все до одной превзошёл, как Платон¹⁵, философ и что там ещё, этого тоже нельзя забывать, на себе чересчур испытал, как в омут вниз головой, к тому же страшно смешон, если только не пуля в живот, тогда не смешно, не смешно, и он вдруг озяб и вспыллил:

– Ведь Якубович по этому делу не имел решительно к Завадовскому или ко мне никаких отношений.

Жандр подтвердил, успокаиваясь, усаживаясь поудобней на стуле, чем-то громко, противно скрипя:

– Не имел никаких.

И опять выходила не Якубовича, а его же прямая вина, и настывшие ноги ломило в тепле, вечная слабость его, давно застудил, и ему наконец приоткрылось:

– А я имею самые близкие отношения и к тому и к тому, вот оно как! Ты не сбивай!

Жандр устался на него, почесал крыло носа, укоризненно протянул:

¹⁵ Платон (428 или 427 – 348 или 347 до н. э.) – древнегреческий философ.

– Ну, Александр, ты же совершенно другой человек, с Якубовичем себя не равняй, этого вздора и думать не смей.

Резко согнувшись, порывисто стянув сапоги, угрюмо подумав о том, что позднеенько схватился разуться и что родной ревматизм завтра непременно скрутит его, он расстроено продолжал:

– Я по-дружески любил их обоих.

Он морщился и словно бы ждал возражений, неотразимо-серьёзных, чтобы чувство вины не терзало его, а Жандр помедлил, прищурился, как будто старался понять, какой ещё тайный смысл таился в этом ненужном признании, и с удовлетворением подтвердил:

– Ты их, точно, любишь обоих, так что ж?

Ошеломлённо вскочив, ясно увидев, что ужасно что-то напутал, не угадывая, именно что, рывком придвинув тяжёлое кресло к растопленной печке, пахнувшей от сильного ветра дымком, он снова сел и вытянул зябкие ноги к теплу, вслух настойчиво выпытывая себя:

– Что ж Якубович? С какой стати он?

Жандр опять изумился, спросил, придвигаясь со стулом поближе к нему:

– Да ты не посмеялся ли где над ним, Александр?

Сцепив пальцы, горячим языком облизнув пересыхавшие губы, он ответил рассеянно, размышляя о чём-то ином, силясь найти, чем же ответить тем жалобно глядевшим глазам, лишь бы их отогнать от себя, больно было глядеть:

– Кажется, нет, не смеялся, хоть и слишком смешон, долговяз да плечист, хлопотливый дурак, неприятель здравого смысла, да уж как-нибудь не спущу, посмеюсь, изъязвлю, погоди.

Жандр двинулся, озабоченно укорил, стараясь заглянуть ему сбоку в лицо, милый, души необъятной, тоже немного смешной:

– Вот, смеёшься над всеми, язвись, не щадя языка, без разбору, без смыслу вперёд, да потом глядь, попался в историю, свалилась беда, в первый ли раз, оглянись, Александр?

Он не оглянулся, раздумался, протянул, одним разом отодвигая наставления верного друга, поскольку мимо шли наставления, ужасно мешали ему размышлять:

– Не со зла, единственно оттого, что страсть как смешно, сам погляди на него: расхохочешься, со смеху помрёшь, как не язвить для спасенья души?

Собирая гармошкой кожу на лбу, простодушный, мало способный на эпиграммы, даже плохие, не охочий до них, тем и близок был сердцу его, добр и мил, хоть зарыдай на груди Жандр рассудительно хмурился, надеясь, должно быть, хоть на этот раз урезонить его:

– Зачем мне смотреть, я смотрел, не хуже прочих нынешних человек, а если послушать громкие речи его, так и с весьма высокими мыслями, обо всём, особенно об несносном деспотизме властей и об прочем, выходит, нашего круга, порядочный человек, не вижу для смеха причин.

Он сутулился, двигал нывшими пальцами ног и презрительно усмехался, вечный враг болтовни:

– Вот именно, верно изложено: если послушать. В самую точку попал, поздравляю.

Лицо Жандра, спорщика неустанного, спорщика пылкого, тотчас стало непримиримым, знать, он тоже в самую точку попал:

– Что ты хочешь этим сказать?

Он круто оборотился к нему, чуть спины не свихнув, как будто довольный, что Жандр вводил его в сторону от мерцающих Васькиных глаз:

– Я хочу этим сказать, что слова, на поверку, что-то нынче дешёво стоят. Я и сам, сколько я говорил, сколько подавал себе преподанных советов, сколько надавал себе всяческих слов, честнейших, наипоследних, сколько клялся в душе, и чему же, сам посуди, каким дурачеством помешали они?

Передвинувшись так, чтобы видеть его, Жандр неопределённо пробормотал, должно быть не совсем ещё уловив его ясную мысль, на соображение не быстр, верный жрец кропотливого размышления:

– Ты смотри, Александр...

Ему тоже хотелось двигаться, куда-то бежать, о чём-то неотложно спросить, да забыл, куда и о чём. Протягивая ноги ещё ближе к теплу, он вскрикнул запальчиво:

– Нет, это ты смотри, ты!

Жандр, привыкший к нему, к его вспышкам внезапным и к внезапной его меланхолии, задумчиво посмотрел на него, не обращая внимания на этот бессмысленный крик:

– Я-то вижу, пожалуй... А всё-таки надобно быть тебе впредь осторожным, пора.

А глаза глядели на него из огня, и он морщился и мотал головой:

– Осторожности не люблю, и жаль, что над ним не смеялся, куда как хорош, сукин сын, удушенник прогресса, в мыле задора, у всех на виду, балабол, да у нас умеют ценить одних балаболов.

Жандр, вопросительно глядя, переспросил:

– Да припомни, не смеялся ли ты, погоди? Удушенник прогресса! Позеленеет хоть кто.

Разматывая галстук, в нетерпении дёргая головой, он тоже переспросил, раздражённо:

– Ты лучше ответь мне, с какой стати он?

Жандр призадумался, затылок погладил правой рукой, короткие волосы перебрал на макушке, помолчал, неопределённо пожал худыми плечами:

– Да уж, видно, таков человек, исправит только могила.

Слишком приблизивши левую ногу к раскалившейся докрасна дверце, обжёгшись слегка, он поспешно отдёрнул её, швырнул в сторону галстук и брезгливо сказал:

– Что за притча, ведь казалось и мне, как тебе, что отличнейших убеждений, враг деспотизму, свободе чуть не защитник, неотступный пропагатор и друг, по этой причине, кто ж сомневается, препорядочный человек!

Помолчав по привычке, усвоенной столько на службе, сколько из потребности размышлять, обдумывая, должно быть, с разных сторон эту вздорную мысль, Жандр не то пустился оправдывать, не то объяснять:

– Убеждения Якубовича хороши, всякий даст тебе в том слово чести, этого рода достоинств у него не отнимешь, так что же тогда? Может быть, вся-то беда его единственно в том, что удалство, с его точки зрения на достоинство человека, для него самая первая вещь? Я подозреваю по временам, что ему лишь бы, главное, себя показать, а прочее после, потом, ежели прочее-то ещё и озаботит его. Ты не находишь?

Он со злостью хлопнул себя по бедру, так что сделалось больно:

– Убеждения, убеждения, дались вам всем убеждения! Да он же из убеждения нарочно за нами подглядывал в Гостином дворе!

Раздвинувши пальцы, словно что-то тяжёлое держал на ладони, Жандр с недоумением протянул:

– Постой, ты мне из этой истории ничего не сказал, отчего?

Его всё продолжало душить от мысли, что Якубович шпионил за ним, он дёргал верхнюю пуговицу, морщился, раздражался всё больше:

– Уж больно противно, шпион что дерьмо, для чего говорить.

Жандр вновь подумал с минуту, затем неторопливо, взвешенно, со значением повторил:

– Говорю, уж такой человек, вот оно что, натура над ним подгуляла.

Распахнувши наконец воротник, сильно двигая шеей, припоминая, как случилось это грязное дело, он едва удерживал негодование своё, выговаривая сквозь зубы, сердясь на себя, что пришлось по нужде рассказать:

– Подглядел, проследил и Ваське тотчас донёс, что за мерзость такая, враг деспотизма, подлец!

Жандр, сдавалось, наконец напал на своё и твердил, озабоченно сдвинувши брови, кричи не кричи:

– Главное, себя, Якубовичу бы только себя показать, ты заметь.

Себя показать, возмутиться из вздора, наплести чёрт знает чего, на приятеля приятелю донести, что за чёрт, сукин сын, он вдруг удивился:

– И совесть не мучит его?

Жандр с иронией возразил, усмехаясь:

– Полно чудить, Александр, какая в этом деле может быть совесть? Ещё и в заслугу себе возведёт: мол, обманутый друг, обманутый подлецом, непременно, и так далее что-нибудь с обличением, за словом не ползет в карман, оратор гостиных, как есть патриот!

Ему не нравился этот насмешливый тон и не нравились эти слова, попадавшие всё-таки в цель, и он, сжавшись весь, отшатнулся:

– Положим, что так, что Якубович тут жаждал себя показать, да в этой гадкой истории всех гаже-то всё-таки я! Вот что пойми!

Положив ему руку на локоть, дружески сжав, Жандр мягко, проникновенно принялся его успокаивать:

– Полно тебе, Александр, что-то больно мнителен стал, терзаешь себя понапрасну. Каким это чудом ты-то больше всех виноват? Ведь ты ж не стрелял!

Он чувствовал всю его правоту, но в то же время отказывался принять всей его правоты, ребром ладони сильно тёр себе лоб и неопределённо, но мрачно тянул:

– Уж ты мне поверь.

Жандр неожиданно светло улыбнулся:

– Никогда не поверю.

Он всего этого глупого дела пересказывать не хотел, всё до нитки представлялось нехорошо, однако не выдержал этой честной улыбки и язвительно вскрикнул, взглянув как-то сбоку, мимо очков:

– Не поверю, ни за что не поверю, всё вздор, это ж я тогда Дунечку к Завадовскому привёз!

Жандр всполошился, руками всплеснул, запричитал:

– Боже мой, и этого ты мне не сказал! А я-то, я-то терзаюсь в догадках! Как это похоже на тебя, Александр! Ведь я тебе друг!

Услыша собственный крик, обещавший истерику, тяжёлую, стыдную, он себя обругал и начал наконец успокаиваться, быстро трезветь и, совестясь, что в самом деле не рассказал всей истории другу третьего дня, признался с досадой:

– Глупость страшная вышла, об чём говорить?

Поглаживая короткие волосы на макушке, опутив глаза вниз, Жандр растерянно протянул:

– Так вот оно что! Такая оказия! Так за это, выходит, Якубович и вызвал тебя?

Подумав тотчас о том, что слишком жестоко наказан за глупость случайную, мимолётную, однако то и дело нападавшую на него, наказан этой красной пулей в живот, наказан, наказан, браня себя, что не одумался, не остановился тогда, он коротко рассказал:

– Она ко мне вскочила в карету, я Митьке: «Пошёл!», а Митька, не разузнавши ещё, вишь, что от Завадовского я неделю как съехал к себе, к тому и завёз.

Жандр растерялся совсем, даже руку остановил, ладонь задержал на своей голове:

– Вот тебе на!

Он же не думал о Жандре, он негромко, раздумчиво продолжал повествовать для себя самого, сильно надеясь на то, что вины его в этой глупости нет, зная отлично, что безоговорочно и кругом виноват:

– Мне бы от ворот поворот, как увидел, что Митька ошибся, а мне, вишь, весело стало, я засмеялся, дурак.

Наконец встрепенувшись, опустив руку вниз, сцепивши пальцы перед собой, Жандр произнёс с упреком и болью, верный был друг, за друга тоже страдал:

– Ты же такой человек, Александр! До той поры ничуть не знаешь себя! Как же так?

А может быть, в самом деле не знал, хоть и всегда размышлял о себе как о загадке какой, то есть точно так, что не знал, да он не слушал верного друга и допытывался узнать, отчего стряслась эта красная пуля в живот и Васька упал и снег хватал мертвеющим ртом.

– Засмеялся, известное дело, да и ввёл её в комнаты, которые вчера ещё были мои, ей же и холодно было, чуть не прямым ходом со сцены, дрожмя дрожала она.

Жандр завертел быстро пальцами и подался вперёд:

– А Завадовский что?

Он ответил угрюмо, пристально глядя в себя:

– Завадовский почти тотчас за нами вошёл, из театра, мы с Дуней наедине переговорить не успели, об этом, об Ваське, шуте.

Жандр торопился, желая поскорее узнать всю историю далее, верно, новые обстоятельства задевали его за живое или наводили на какую-то новую мысль:

– И что?

Он рассказывал чистую правду, ничего, кроме правды, сам не веря себе, до того чудовищным, глупым всё это невинное дело представлялось теперь, после пули в живот, а ведь умный был человек, что за дичь.

– Уселись втроём, пили чай, весело вечер прошёл.

Жандр с серьёзным лицом упрекнул, как и всегда его упрекал, от души, переживая всегда за него, сам никогда не попадая ни в какие истории, даже не поскользнулся ни разу, счастливцев, в грязь никогда не упал:

– Видишь вот!

Он покусывал губы, глаза отводил.

– Вижу теперь, что это я один виноват, а Васька вовсе не шут.

Чего Жандр не мог, того и не мог, чтобы хоть волос упал с его головы, так на его самоказнь так искренно удивился, что расширил глаза.

– Виноват? Может быть, перед Богом, так перед Богом мы все виноваты, но перед людьми не нахожу и малой вины за тобой, это ж Якубович всё разболтал и наплёл небылиц, чай же пили втроём.

Разум и ему говорил, что не могло быть и малой вины, если чай пили втроём, душистый, китайский, с вареньем клубничным, денщик Завадовского подал на стол, вечер весело пролетел, да те глаза всё глядели на него с ожиданием, что же он, и он чувствовал остро, что кругом, кругом виноват, и усиливался и разумом это понять, беспокоясь, сердясь, или уж сиять прочь с души эту тяжесть, или казнить себя казнью своей.

– Да ты рассуди, мы все трое относились по-дружески. Васька влюблён был в Истому...

Жандр неожиданно перебил, точно это обстоятельство имело значение и что-то могло изменить:

– Говорят, она ему досталась невинной?

Э, чёрт возьми, пропади они пропадом всё, и он вопросительно поглядел на Андрея, сидевшего с наморщенным лбом, силясь логику угадать, что ж из того, что невинна:

– Он мне про это сам говорил, Васька, болтун, так как это знать. Понимаешь, он её даже на сцене хладнокровно видеть не мог, сил не имел, столько грациозности, сладострастия столько в каждом движении.

Жандр с пониманием протянул:

– Вот за них-то, за движенья-то эти, должно быть, и ревновал, так танцовщица, актёрка она, или не знал?

Он вдруг; испугался и дёрнулся весь:

– Может быть, за движения, только я в неё не был влюблён, не увивался, не волочился за ней, обходился с ней по-приятельски, запросто, как с короткой знакомой, ко мне не было причин ревновать, он это знал!

Тоже зная об этом, Жандр только заметил:

– Однако ж все говорят, что Завадовский не был к ней равнодушен.

Нет, и эта оказия не спасала его, глаза продолжали глядеть как глядели, и он с горечью им возразил:

– Завадовский виды имел ещё до него, однако тотчас ему уступил, джентльмен, холодная кровь, Британию на себя напустил, тоже славный актёр.

Жандр облегчённо вздохнул и вновь улыбнулся:

– Вот видишь сам, Шереметев с ней жил по-супружески и по-супружески ссорился часто. А ты заладил, как попугай: вина, виноват, погляди на себя.

По-супружески, по-супружески, да никакое супружество не успокаивало его, и он воскликнул с досадой:

– Об Ваське что говорить, Васька слишком влюблён, разгорячился, мальчишка ещё, а я-то из чего принял всерьёз брыкливые слова Якубовича? Мне-то что за резон?

Откидываясь назад, Жандр заметил ещё раз, настойчиво, трезво, с совершенно спокойным лицом, сам ли утешился, его ли этак утешить хотел:

– И Завадовский принял, не ты же один.

Да не надобно ему никаких утешений, не в утешениях дело, что в них, слова, пустота, и это спокойствие доброго друга только пуще распалило его:

– Они к Завадовскому приехали пьяные, Шереметев с Якубовичем во главе, я потом об этом узнал, там между ними ссора была, кто над собой властен в ссоре и во хмелю? Я ж был трезв и спокоен, сидел и читал, Мольера читал, ты заметь, с какой стати было мне заирать Якубовича? С какой стати, главное, было Ваську не удержать? И вот Васька убит, и выходит, что это я кругом виноват, а не он.

Жандр затряс головой:

– Да полно тебе, Александр, это всё Якубович беспутный его награвил, на Якубовиче, стало быть, и вина, в этом логика есть, а ещё есть логика в том, что твой долг был за эти проделки Якубовича наказать, благородное дело, поверь, или ты логике враг?

Оно славно всегда – верного друга иметь, на тебе не видит греха, хоть пляши на гробах, хоть из пистолета пали, на том и весь сказ, так что готов рядом с другом порядочного человека слышать в себе, как бы не эти глаза, привязались, проклятые, глядят и глядят, и он, пристально поглядев на него, огрызнулся:

– Ну, это ты брось, говорю!

Жандр вдруг вскочил, не желая, должно быть, далее слушать его, и суетливо изрёк:

– Постой, ты устал и продрог, тебе чаю с ромом как раз, я прикажу.

И выскочил вон, оставив его одного перед печкой, в которой лениво догорали дрова.

В другой комнате раздались приглушённые голоса. Кто-то, кажется Ион, что-то негромко сказал. Затем Жандр прокричал намеренно громко:

– Чаю подай!

И на него продолжали смотреть с глубокой болью расплывчато-голубые глаза и в полном молчании упрекали его, и он всё этим пристально вопрошающим глазам говорил, говорил, что он виноват, сомнения нет, что искупит вину, в этом тоже сомнения нет, понимая прекрасно, что такого рода вину уже не искупишь ничем, и уснул наконец прямо в кресле, сморённый усталостью и теплом, далеко вперёд вытянув разутые ноги, слыша сквозь внезапно навалившийся сон, как Жандр негромко-настойчиво звал:

– Александр, Александр...

Он ещё понимал, что намеревался сказать ему Жандр, и мысленно даже пошевелился, чтобы выпить чаю и поднять сапоги, сапоги-то стало особенно жаль, однако же тёмное забытье тут же оглушило его, затянув в свою мягкую бездну.

Утром, с немалым облегчением открывши глаза, во всём теле ощутивши бодрую свежесть, он встретил прямо в упор вопросительно-жалобный взгляд Шереметева, о чём-то важном умолявший его.

И он тотчас поднялся со стула, стоявшего близко, но несколько сбоку, у ног, и неуклюже встал перед ним:

– Самое время вставать. Просил Василий Васильевич очень приехать тебя, Александр.

Он спросонья ещё не понимал ничего и сердито спросил:

– Какой? Какого чёрта ему?

Склонившись низко над ним, точно он был в жару и в бреду, бледный Ион срывавшимся голосом пояснил:

– Шереметев, какой же ещё, не знаю зачем, не сказал, только приехать очень просил.

Он тотчас сел на диване, тотчас вспомнивши страшно вздутый живот, чёрную дырку в боку и ком намокших волос, прилипших к затылку, оскаленный рот. Затёкшие ноги стало остро покалывать и щипать, должно быть, он спал неудобно. Он разглядел, что кто-то раздел его с вечера и накрыл тёплым пледом, который он любил себе набрасывать на колени, когда бывал у Жандра в гостях. Утро сияло. Неужели он так долго проспал, несмотря ни на что? Как могло это быть? А Ион, должно быть, не спал, экий бледный какой.

Ему стало нехорошо оттого, что уснул, но он не успел погрузиться в себя. Откуда-то явившийся Сашка суетливо поставил ему на колени лакированный чёрный поднос с чашкой горячего кофе и с кренделем, как он любил и дома всякий день пил по утрам, словно ничего не случилось, Сашка улыбался всем ртом.

Он отвернулся и пробурчал:

– Это не надо, прими, Александр.

Ощувив, что подноса на коленях тотчас не стало, подивившись небывалой покорности своевольного Сашки, он вскочил и поспешно стал одеваться, страшась опоздать.

Всё было вычищено, выглажено и у него под рукой, верно, Сашка старался вовсю, позабыв свою неистребимую лень.

А глаза всё глядели в упор, без упрека, обречённо, беспомощно, понуждая спешить и спешить.

Ион неуклюже топтался у него за спиной, говоря:

– Сказали, что худо ему.

Он сморщился, вспомнив, что он в этом непростительном доле кругом виноват, и грубо отрезал:

– Как не худо, с пулей в боку.

Ион, не возражая, с неловкой мягкостью попросил:

– Позавтракали бы сперва, Александр, самое время поесть, вчера не обедали вовсе, сутки прошли.

Он испугался, резко поворачиваясь к нему:

– Какой, к чёрту, завтрак? Звал же, так надо спешить!

Он вовсе не понимал, за какой надобностью должен он ехать, и даже подумал, как-то отрывочно, вскользь, точно тайком от себя, под каким бы предлогом не ездить, да это напоминаясь обеда, а в самом деле, как угадывалось, о том, что время у него ещё есть, оттого что тот ещё жив, подстегнуло его, и он окончательно заспешил, и внезапно пришедшая мысль, что успеет перед тем оправдаться во всём, подгоняла его, отчего копошился он дольше обыкновенного, то не попадая в рукав, то позабыв про жилет.

Ион, готовый давно, дожидаясь предупредительно, стоя у двери с вытянутым несчастным лицом: плохи, стало быть, были у бедного Васьки дела.

Наконец Сашка подал трость и цилиндр и набросил шинель.

Наёмная карета ждала у крыльца.

Они молча сели с разных сторон. У него промелькнула благодарная мысль, что верный Ион заранее позаботился обо всём, ничего не забыл, а Ион, склонившись, заглядывая в лицо, вполголоса говорил:

– Дело теперь заведётся, в полиции или где, так все мы должны говорить...

Согласно с указом, которым строго-настрого воспрещалась дуэль, дело должно было завестись непременно, однако к этому делу он был равнодушен, точно оно не касалось его, только несчастного Иона, которого затащил ради шутки, экий болван, стало вдруг страшно жаль, и он грубовато, отрывисто оборвал:

– Тебе, Богдан Иваныч, надобно от всего отпереться, и точка.

Ион переспросил, удивлённо моргнув:

– Это как?

Александр уже видел, что для Иона в отрицании с порога всего, что предъявят ему в заведшемся деле, единственно правильный выход, и ответил, сердито ворча:

– А вот так: не был нигде, не знал ни об чём и во сне не видал. Не беспокойся, у нас немцу тотчас поверят, что ни солги, замечательная к немцам любовь у властей, да и власть-то из немцев, порядок такой.

Откинувши несколько голову, по-прежнему разглядывая его, точно давно не видал, покачиваясь смешно, когда карета подпрыгивала на кочках, китайский болван, две капли воды, Ион изумлённо тянул, не имея в запасе этого неотразимого русского средства – беззастенчиво лгать:

– Однако, позвольте, я не был там, Александр, я, как раз напротив, там был...

Возражение принадлежало к разряду глупейших, самому распространённому между людьми, как он примечал, немцы на этом стоят, как гранит, но всё-таки и глупейшее возражение надо обдумать, хотя чего же обдумывать, очевидно, как Божий день, понятно должно быть напоследнему дураку, не был, и всё тут, спрос не велик, а между тем они приближались, через минуту иное станет важней, к чему он вовсе не был готов, всё заспал, как же он мог, он-то там точно был, и, сморщившись, словно бы Ион наступил ему на мозоль, нагнув голову, он попросил:

– Потом, Богдан Иваныч, об этом потом, после поговорим, я растолкую тебе, где ты был, глубокая мысль.

Ему сделалось сиротливо и зябко. Он во всём ещё очевидней был виноват, и вина непоправима была, безысходна и, как плита на груди, тяготила его, можно ли посвящать немца в тонкости русского умения жить.

Александр натягивал перчатку на правую руку, тотчас снимал и беспрестанно совался к окну.

После вчерашнего мороза и снега вдруг потеплело, моросила какая-то мелкая дрянь, за окном висел невзрачный редкий туман. Колеса кареты стучали по обнажённым скользким камням.

Он удивился, что не приметил ни дождя, ни тумана, когда выходил.

Право, лучше было бы всё ещё спать, порывисто, тяжело, но без дождя, тумана и снов. В особенности сны никому не нужны.

Тут карета остановилась, но остановки он не заметил, продолжая сидеть, свесивши голову, опираясь двумя руками на трость, размышляя, отчего это сны никому не нужны.

Ион осторожно тронул его за плечо, указывая движением головы, что пора выходить.

Александр с изумлением поглядел на него: чего тот хотел от него, сообразил, что сны всё же нужны, из кареты выбрался почти машинально, вошёл и не тотчас сбросил шинель, точно раздумал входить.

У него чуть не силой взяли трость и цилиндр и без промедления провели к Шереметеву, видимо давно ожидая его.

Серый, неузнаваемый Васька был весь в жару. Лихорадочно блестели бесцветные жидкие большие глаза и беспокойно, мучительно ждали кого-то. Почерневшие губы запеклись и шептали чуть внятно и с хрипом:

– Грибоедов... жду тебя... хорошо... прости меня... друг... я верю, верю... уж ты, брат, прости...

Александр сел перед ним, опустил на колени бессильные руки и наклонился вперёд, стараясь хоть что-нибудь разобрать из того, что бедный Васька шепчет явно в полубреду.

В тот же миг Шереметев вдруг увидел его, ещё больше расширил больные глаза и отчётливо прошептал:

– Грибоедов!

Он невольно слишком громко сказал:

– Здравствуй, как ты?

Шереметев нахмурился, сморщил лоб совсем так, как всегда, когда недоволен бывал, что мешали ему, и зашептал торопливо, прорываясь, поверхностно, часто дыша:

– Ты был прав... Во всём, Грибоедов... поразительно прав... Я тебя только жду, не хотел помереть без тебя. Ты же прав... теперь никогда... ни-ко-гда...

Он машинально кивнул, решительно не понимая его:

– Да, ты тоже прав, помолчи.

И вдруг осознал, как нелепо, несправедливо, возмутительно то, что именно перед смертью втолковывает ему Шереметев, перед смертью, уже ничего не вернуть, с этим, с этим так и уйдёт, и, почти к самому уху склоняясь, глядя тревожно, жив ли ещё, с тяжкой страстью заговорил:

– Это я во всём виноват, слышишь, я виноват, ты прости меня, брат, загубил я тебя, ты прости, я прошу, я тебя очень прошу, ты прости!

Чёрные губы Шереметева дрогнули, точно пытались сложиться в улыбку.

– Это всё я, сердца на меня не держи... Нельзя так глупо любить, а ты говорил, сколько раз говорил... Прощу тебя, скажи нынче ей... пусть отпустит меня... мучил её... это скажи... пистолет...

Горячее короткое прерывистое дыхание было у него на бледной щеке, однако он ещё ниже склонился над ним и силился хотя бы взглядом Ваське внушить то, о чём говорил почти мертвецу:

– Всё скажу, но если бы я...

Шереметев, вдруг перебив, едва прошептал, весь опускаясь вниз на высоких подушках:

– Перестань... простишь ли меня?

Он слабо вскрикнул в самое ухо:

– А ты?

Шереметев выдохнул, безвольно набок клонясь головой:

– За этим и ждал... спасибо тебе...

Он не разобрал впопыхах, за что благодарил Шереметев его, когда должен был проклинать, и с пронзительной жадностью следил за губами, чёрными, жаркими, что скажут они, чем ответят ему на учёный вопрос о прощении, но губы больше не шевелились, рот был раскрыт широко, втягивая воздух со свистом.

Александр откачнулся, соображая, что должен идти, не в силах подняться и навсегда оставить его.

Шереметев заметался в бреду, несколько раз повторив его имя, точно всё ещё ждал.

Он прислушивался к этому невнятному бреду и обречённо сидел перед ним. Он не верил, но знал, что совсем близок конец и что ему не забыть, не забыть никогда, и тогда... и тогда...

Тут он вздрогнул и поднял глаза.

Оказалось, он был не один.

Пожилой доктор, весь в чёрном, не тот, не вчерашний, который вынимал красную пулю после дуэли, незнакомый, спокойный, неподвижно сидел в стороне и молчал, не глядя ни на кого.

Александр взглянул вопросительно, и тогда доктор, добродушный толстяк, видимо немец, с усталым лицом, тотчас уловив на себе его вопрошающий взгляд, со своим всё-таки свежим румянцем на круглых щеках, неторопливо кивнул и чуть слышно произнёс по-латыни, отчего-то уверенный в том, что посетитель знает латынь:

– Час или два.

Он изменился в лице и готов был бежать, но заставил себя для чего-то ещё посидеть.

К нему наконец подошли, тоже громким шёпотом стали за что-то благодарить.

Он откланялся и тотчас уехал.

Жизнь оказывалась серьёзная, страшная вещь. Этой вещью не полагалось шутить, как он беспечно и беспутно шутил всё последнее время, вчера и до вчерашнего дня.

Он боялся заплакать навзрыд и сквозь оконце наёмной кареты, нарочно проделанное в передней стене, упорно глядел извозчику в спину.

На этой чужой незнакомой спине был измокший рыжий тулуп. Потемневшая кожа повывтерлась слегка на лопатках и на этих местах была очень гладкой на вид и намного темнее. Большой барашковый воротник был опущен и лежал на плечах. На воротнике ершились намокшие чёрные завитки.

Ион, прижавшийся в угол, как будто ему говорил, а может быть, рассуждал сам с собой:

– Говорят, Якубович намерен стреляться... Каверин намерен Якубовича убедить...

Ему сделалось омерзительно, скверно, как только до него дотащился смысл этих слов.

Он сконфуженно возразил:

– Дело чести, для чего убеждать?

Ион что-то долго и пугливо стал изъяснять, однако он его больше не слушал.

Жизнь так огромна, что не имела цены, ни за какие деньги именно жизнь не купить. Оттуда не возвращался никто, это ещё принц датский так остроумно приметил, и Васька не воротится, шалишь, а здесь ничего хорошего быть не могло. И вот не укладывалось у него в голове, как же он себе позволил с жизнью, своей и чужой, шутить и шутить?

Спина сквозь оконце казалась широкой, прямой и спокойной: верно, отлично знала эта спина, в какую сторону гнать лошадей.

Разве он мог, разве он право имел вполне жизнью признать всю свою прежнюю суматошную егозливую дурацкую жизнь?

Наконец воротившись домой, он себе места не находил, всё думал о чём-то, не всегда умея сказать, о чём размышлял, прилёг на диван, через минуту вскочил, стал ходить взад и вперёд, размахивая сильно руками, наконец присел бесцельно к столу и поник.

Ион, скромно сидя на стуле, поближе к дверям, точно на минутку зашёл, горестно вслух рассуждал о судьбе вообще и о печальной судьбе Шереметева, кавалергарда, штаб-ротмистра,

графа, всё время обращаясь прямо к нему, словно затем, чтобы он только как можно дольше слушал его и не смел погружаться в себя.

Слушал он плохо, отвечал кое-как, может быть, невпопад, отчего-то спросил, разве Шереметев был граф, позабыл. Он чувствовал болезненно, остро, что упустил свою жизнь и что не судьбу за своё упущение должен винить.

Он её сам пропустил между пальцами, единственно сам, вот что в этом гадком деле сквернее всего, оттого пропустил, что дурак, если б судьба, так это б ещё ничего.

А всё отчего?

А всё, сукин сын, оттого, думал он, что многие годы, ещё со студенческих лет, когда мальчиком был, он наладился жить с убеждением, разлитым во всё его существо, что он готовит и превосходно приготовил себя на серьёзное, важное, даже, возможно, на чрезвычайное и великое дело, что в одной этой готовности и заключается всё благо жизни и что, в сущности, не имеет никакого значения именно то, когда приступишь к исполнению чрезвычайного и великого дела, если душа переполнена твёрдую готовностью, до краёв переполнена счастливой верой в себя, тут беспокоиться нечего, случай явится сам собой, ничего промедление, всего в несколько месяцев, в год или в два, всё отлично, метаться-то из чего, из какой такой надобности высуня-то язык чрезвычайное и великое дело волком голодным искать?

И вот одна глупая пуля в живот – он оглянулся: позади увиделось одно позорное промедление, и ни единого дня уже не воротишь назад.

А если бы выстрел был сделан в него? Если бы теперь он метался, как Шереметев, с дыркой в боку, с воспалённым от последнего жара лицом?

Что бы осталось в память об нём? Какое чрезвычайное и великое дело?

Звук один его имени: Александр Грибоедов.

И более в памяти современников ровным счётом не отпечатлелось бы ничего.

Даже не тень на стене.

Нет, он не хотел бы так жить, не хотел бы так умереть, чтобы ни звука, ни тени, однако так жил и мог бы так умереть, что самое имя его покрылось бы мраком забвения.

Сколько в памяти поколений отпечатлелось великих имён? Прозвучи трубный глас – и поднялись бы усопшие исполины один за другим, когорта бессмертных: Святослав, Ярослав, Мономах, Иоанн, Пётр Великий, Екатерина, тоже, нет спора, Великая.

Преобразователи, вершители судеб, с познанием всего, от начала века по днесь, как будто участники во всех делах мира не только при одной своей жизни, но и после дальней, в прахе столетий, славной смерти своей.

Великие мира – великий пример.

Кажется, давно изучил об них всё, помнил всякое долетевшее слово и всякое воплощённое дело, однако на пользу великий пример не пошёл и той высшей мерой не измерить себя, унижительно мал, совсем не видать.

Начать заново жизнь?

Каким чудом, однако? С чего? И каких теперь надобно сил, богатырских, безмерных?

Поздно, пожалуй, сначала начать уже поздно ему, да сначала жизнь начинают только в романах, в скучных, в дурных.

Ещё слава Богу, что хотя бы остановился так вдруг посредине безумия и сумел разгадать, что кругом виноват.

Если б не эти ждущие голубые глаза, не догадаться бы самому никогда, несмотря на весь ум.

Что ум? Человеку, должно быть, необходимо, чтобы время от времени большое несчастье, свалившись, как камень, напоминало ему о себе же самом, и он бы взглядывал вдруг на себя охлаждённым, трезвым, прямым, критическим оком.

Необходимо взглянуть!

Ион тем временем рассуждал с вопрошающим выражением на длинном лице:

– Как странно, что отец в несчастье таком остаётся спокоен. Я бы, кажется, умер сам, лишь бы не видеть своими глазами, как умирает мой сын. Вы же знаете, Александр, как люблю я детей, и потому своих детей иметь мне никогда не решиться. Я, может быть, по этой причине и не женюсь никогда. А вы, Александр? Представьте: лелеять, любить – и вдруг в один миг потерять навсегда!

Собравшись было жениться, внезапно отвергнутый, оскорблённый, откровенно предположительный другому, как мало всё это глупо проведённое время думал он о себе, то есть мало думал о жизни своей, о смысле, о цели её? Кому-то как будто бы мстил, сбитый капризной женщиной с ног, как и Васька, – шут, скоморох, он жил, как жилось, со дня на день и день ото дня. После этого, кто ж он такой? Ему бы вот это для начала узнать, сосредоточиться бы, позабыть обо всём постороннем, о той тайной обиде прежде всего, понять и простить, простить, разумеется, прежде всего, Васька и тот угадал, и, понявши, простивши, прозреть.

Он расслышал, что Ион молчит, и сказал, вдруг решив, что наставник, как прежде, с воловьим терпением ждёт, чтобы взрослый дитя отдал на какой-то важный запрос:

– Лелеять, любить? Однако первыми чаще всего уходят из жизни отцы.

Ион покачал головой, точно ответ был именно тот, какой ожидался, и печально вздохнул:

– Как знать! Судьба безжалостна к нам. Судьба не разбирает отцов и детей, знай себе равнодушно машет железной косой.

Стол был огромный и очень удобно стоял у окна. Свет падал широко и свободно на крышку, пиши да пиши. Когда занимал он эту квартиру, стол понравился ему больше всего. Он собирался усидчиво много работать за ним. Чрезвычайные, великие замыслы, казалось, тяготили его. Таким замыслам, дело известное, надобен свет и простор.

– Не хватает только свечей.

Ион без промедления согласился:

– Вы правы, стало рано темнеть, зима настаёт. Александр замешкался что-то, приказать, чтоб подал?

Он удивился, заметив, что сумерки давно наполнили и не видать почти ничего, и тревожно забормотал:

– Богдан Иваныч, будь добр, прикажи.

Ион тотчас кивнул:

– С удовольствием прикажу, Александр.

В голове вдруг мелькнуло, как обыкновенно мелькает во сне, что добрый Ион отдавать приказаний не выучился, что надо бы было остановить и Сашку обругать самому, экий упрямец, лентяй, сукин сын, однако Ион вскочил, длинно зашагал по ковру и скрылся за дверью, точно растаял, заставив его усумниться: да был ли немец только что здесь и не разглагольствовал ли он сам с собой чуть не весь день? О чём, бишь? Ах да, о коварной судьбе да об детях.

На крышке стола были разбросаны бумаги и книги. Встревоженный, несколько раз нарочно потрянув головой, надеясь резким движением наваждение прогнать, он принялся машинально проглядывать их, поднося совсем близко к глазам. Бумаги и книги накапливались давно. Он не сомневался, живя как попало, что бумаги и книги все разом вот-вот непременно понадобятся на что-то ему, и перекаладывал то на одну сторону, то на другую, а бумаги и книги понемногу пылились, желтели, не изнедав постоянного большого труда, молчаливые трупы, жертвы мечтаний, кто бы дал жизнь?

Сперва взявшись за книги, проглядывая названия, скорее угадывая, чем прочитав в темноте, открывая на мгновение в разных местах, он и представить не мог, для чего так долго собирал и хранил этот хлам, покрикивая на ленивого Сашку, чтобы не хозяйничал тут и не хватал, упаси Бог, ничего на растопку. К тому же и читать сейчас было нельзя. Зимний день стремительно угасал, точно прятал свет от него.

Он откинул голову на спинку высокого кресла и прикрыл утомлённо глаза.
Воспалённые веки чуть горели и слабо чесались.

Хорошо бы было в баню сходить.

Толкнув дверь ногой, Ион внёс канделябры. Сквозь прикрытые веки Александр ощутил яркий свет, но глаз не открыл и не стал шевелиться, прислушиваясь, как Ион неуклюже возился, ставил свечи на стол, передвигал, потом что-то взял со стола и удивлённо, протяжно спросил:

– Вы читаете «Мизантропа» по-русски?

Он неохотно ответил, глаз не открыв, не поворотив головы:

– Читал.

Ион постоял минут пять, страницами шелестел, шмыгал время от времени носом, затем сердито швырнул русского «Мизантропа» на стол, книга шлёпнулась, должно быть, раскрылась и слабо затрепетала листами, а Ион громко сказал:

– Это очень плохой перевод, Александр, даже слишком плохой, я вам удивлён!

Он открыл с досадой глаза, что за вздор?

Копья высоких свечей пугливо дрожали. Чернота позднего вечера тревожно глядела в окно. Сашку кричать не хотелось.

Он поднялся, обошёл кругом громадный свой стол, предмет бесплодного обожания, дёрнул шёлковый шнур, и пунцовые плотные шторы закрыли окно. Эти странные шторы завёл до него в этой комнате какой-то дурак. Они вовсе не подходили к серым обоям и были неприятны для глаз. Он терпеть эти шторы не мог, а до сего дня не сменил, всё куда-то бесцельно спеша, всё бегом да бегом, и теперь, может быть, в смене штор не слышалось ни малейшего смысла.

Ион по привычке прислонился к стене, скрестив свои длинные ноги. Добродушное лицо немца слегка потемнело, как бывало в Москве, когда он ленился и противился злейшей участи помереть от скуки на лекции, голос немца сделался неожиданно строг:

– Из какой надобности вы читаете всякую гадость?

Наставником так и несло. Иону было всего двадцать лет, когда матушка наняла немца к нему гувернёром. Они вместе слушали курс эстетики у полунемца-полуфранцуза Буле¹⁶, который приватно читал на квартире Петра Чаадаева¹⁷, вместе слушали курс на этико-политическом отделении. Ион был с ним застенчив и добр, вспоминая лишь от случая к случаю, что поставлен над ним гувернёром, возвышал тогда голос и хмурил брови и лоб. Матушка возмутилась до крику, когда увидела, что с течением времени они стали друзьями, однако же расчитать Богдана Ивановича не посмела, он решительно воспротивился этому, защищая наставника своего, а он был её сын по любви, и она, покричав, погрозив, насаказавши упрёков, всегда делала, как он хотел.

Славно они проживали в Москве допожарной, переводили с латинского Плавта¹⁸, менялись юными мыслями, чаще всего по-немецки, читали Гёте и Шиллера, причём Шиллера всегда ровный застенчивый Ион декламировал с неподдельным восторгом, с жаром в глазах и горько оплакивал Новую Элоизу¹⁹. Нынче Ион был уже доктором прав, управлял Немецким театром и восхищался мещанскими драмами Коцебу²⁰, немец, известное дело, был бы повод

¹⁶ *Буле* Иоганн Феофил (1763-1821) – профессор Московского университета, преподавал философию, историю изящных искусств.

¹⁷ *Чаадаев* Пётр Яковлевич (1794-1856) – русский религиозный философ, член Северного общества (1821), в 1823-1826 гг. – за границей. За критику самодержавия в «Философических письмах» (одно письмо опубликовано в журнале «Телескоп» в 1836 г., после чего он был закрыт) объявлен сумасшедшим.

¹⁸ *Плавт* Тит Макций (сер. III в. до н. э. – ок. 184 до н. э.) – римский комедиограф.

¹⁹ *Новая Элоиза* – «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) – роман Жан-Жака Руссо (1712-1778).

²⁰ *...восхищался мещанскими драмами Коцебу...* – Коцебу Август Фридрих Фердинанд фон (1761-1819) – немецкий писатель, драматург и романист.

малейший – тотчас пустит слезу, оттого и прежде книг не швырял никогда и тоном наставника говаривал разве что по ошибке или уж больно сердясь на него.

Александр почувствовал раздражение от этого ненавистного тона. Самолюбив, независим, гордости, может быть, непомерной, наставлений ни от кого не терпел, ни дурацких, ни умных. К тому голубые глаза Шереметева, вновь промелькнувшие перед ним, готовы были заплакать. Что за притча, уж не сентиментален сделался он? Уж не переметнулся ли в слезливый стан Карамзина и Жуковского²¹? То-то бы отчудил!

Он поколебался, стоит ли отвечать, но ответил вызывающе тихо:

– Решился проверить, готова ли русская мысль передавать по-русски глубокое содержание.

И тут же схватил в раздражении стопку исписанных неаккуратно листков и быстро их проглядел один за другим, глазами выхватывая то одно, то другое случайно попавшее слово, щурясь от слишком яркого света, кусая вдруг пересохшие тонкие губы.

Вновь выспрашивал он сердито себя, есть ли на нём в самом деле вина, или он, от неожиданности или с испуга, поддавшись глупейшей чувствительности, её сам себе навалил на внезапно занемевшую душу, такую беспечную, такую лёгкую всего день назад, а теперь? Что теперь? Ощущение этой непоправимой, этой громадной, всевластной вины были стиснуты все его лучшие чувства. Вот и опять этим стиснутым чувствам его вина перед добрым приятелем, но шалопаем, в особенности перед собой, тоже личность не лучшего свойства, по правде сказать, представлялась неоспоримой. А беспечность, а лёгкость, вселявшие ощущение счастья и радость? От них ничего не осталось, лишь один убегающий в памяти след. Ощущение счастья и радость задавила глухая тоска. Он, то покорно, то зло, размышлял непрерывно о том, бегло просматривая им когда-то исписанные листки, как станет жить под тяжестью этой несчастной и, вдруг подумалось, слишком уж глупой вины. Этой отравленной жизни он себе представить не мог, он любил весёлость и радость, шутки и смех, как любили, кажется, все, кто его окружал, одна матушка никогда не смеялась, так что и жизнь была невозможна без них, жизнь без шуток и смеха была чужда ему до того, что не хотелось и жить, не хотелось и думать о жизни.

И на этих исписанных криво и мелко листках открывалась уму явная глупость и чушь. Он дивился, как имел легкомыслие занимать те счастливые беззаботные дни подобными стыдными вздорами. Теперь же, когда он был кругом виноват, представлялось просто-напросто неумной нелепостью слово за словом выправлять корявый чужой перевод «Мизантропа». Чужая комедия, чужие слова.

Ион вновь со злостью подумал о том, что вечно рядом идущая смерть в любой миг могла оборвать это невинное, чуть ли не детское препровождение времени, и остались бы от него одни эти смешные листочки, как от весёлого Васьки остались одни умоляющие, перепуганные глаза.

Очень высокий, оттого, может быть, что стоял у самой стены, следя неотступно за ним, улыбаясь осторожной доброй улыбкой, Ион наконец негромко спросил, так же внезапно оставивши тон наставлений:

– Ну, как вы это нашли, Александр?

Он вздрогнул, взметнулся, резко передвинулся в кресле, с недоумением взгляделся в долгоязого немца и тоже негромко спросил:

– Ты об чём?

Скрестив длинные руки, стиснув пальцами узкие костистые плечи, Ион без малейшей иронии изъяснил:

²¹ *Уж не переметнулся ли в слезливый стан Карамзина и Жуковского?* – Грибоедов критически относился к чувствительному сентиментализму Карамзина и Жуковского и их последователей – арзамасцев.

– Ну, вот это, над чем вы размышляли, то есть готова ли русская мысль выражаться по-русски?

Вместо ответа он порывисто смял мерзкое кропанье в комок и с отвращением швырнул в кем-то, этого он не приметил, растопленный и уже угасавший камин.

Листки его рукописи так и упали, белым бесформенным комом, на присыпанную свежим пеплом золу, и зола взметнулась под лёгкой тяжестью их снопом мелких смеющихся искр.

Всплеснувши руками, Ион отскочил от стены:

– Остановитесь! Александр! Зачем вы? Боже мой!

Склонив голову, отвернувшись, с неподвижным потемневшим лицом, испытывая отвращение к себе, непримиримый судья, Александр отрезал резко и зло:

– Не мне судить бедную русскую мысль.

Длинный Ион стремительно пал на колени, громко стукнувши об пол, угловато сложился, как циркуль, выхватил из пасти камина и принялся расправлять перепачканные, смятые, уже зачерневшие по краям листки неоконченной рукописи, как ещё не разрыдался, бедняга, впрочем, жалко его, и перед ним виноват.

Кто же он? На что предназначен судьбой? Когда, в какой миг себя потерял? Или всё ещё не нашёл, оттого что никогда не искал? Хорошо, если бы так. Однако же выходило кругом, что ничтожество он, что обречён прозябать с двенадцатым классом и двумя паршивыми ведевилями в тощем портфеле, которые с французского переташил на русский язык, того ради, скорое всего, чтобы что-то доказать чудаку Шаховскому.

И что доказал?

Не судья, разумеется, никому, ничему не судья, судья себе одному.

И, тоже довольно высокий, ловкий, худой, склонился к хлопотавшему Иону, выхватил морщинистые листки один за другим из жадных дрожащих растерянных рук, с ожесточением рвал на мелкие клочья, сердито кричал:

– Оставь, Богдан Иваныч, оставь, Бога ради, добром, добром тебе говорю!

Глядя на пустые ладони в серых пятнах каминной золы, Ион покорно поднялся с колен и огорчённо пробормотал:

– Вы пробросаетесь, Александр! Дарования ваши...

Точно по сердцу ножом, он оборвал, брезгливо отряхивая ладони, сметая белые хлопья бумаги с колен:

– Чёрт их задери, мои дарования!

С жалкой улыбкой, с растрёпанной головой, Ион неуклюже стоял перед ним и говорил ему с мягким упрёком, с явной болью сердечной в широко раскрытых повлажневших глазах, что ж они смотрят-то все на него:

– Ах, Александр, сколько дал вам великодушный Господь дарований, вы философ, вы учёный историк, вы поэт, музыкант, вы владеете шестью языками, и что же? Где плоды этих ваших несметных богатств?

Да, в самом деле, за какие его прегрешенья над ним так жестоко спутила судьба? Насмешница вечная наша, дрянь последняя, если правду сказать. Одарила-то одарила, с чего бы он очевидное благодеянье старухи стал отрицать, однако ж путного сделать отчего не дала?

А те голубые детские умоляющие глаза продолжали с жалким вопросом глядеть на него из угла, как Ион глядел, и он, зябко ёжась, потирая правой ладонью плечо, отвернувшись от них, дрожащими губами возразил едва слышно:

– Эх, Богдан Иваныч, поверь: у кого так много талантов, у того, должно быть, ни одного настоящего, дельного нет, вот в чём вся соль, вот в чём, видать, наша беда, немцам-то этой беды не понять, понимаешь?

Сделавшись точно бы ниже, мигая растерянно, часто, Ион с ясно написанном на длинном лице огорчением в знак полного отрицания мотал головой, запинаясь, спеша:

– Не вам жаловаться на щедрого Бога, не вам, Александр, заклинаю, большой это, очень это большой и непростительный грех, обязан напомнить вам изначальный закон, непреложный, а вы же себя и не знаете сами, не лгите себе на себя, я вас прошу.

Грех, разумеется, непростительный грех, правило в самом деле, железный закон, да разве грех самый тяжкий из всех?

Не поднимая глаз на него, отходя от камина, всё больше на что-то сердясь, он бросил отрывисто:

– Истинный человек обязан служить высшим целям, всю жизнь свою одним высшим целям отдать, в противном случае какой же он человек, наплевать на любые таланты с высокого дерева, а я, скажи мне, чем, для чего я живу? Что же ты мне уши все прожужжал об каких-то талантах?

Тяжело, сокрушённо вздохнув, присев на скамеечку, на которую он ставил свои зябкие ноги, обыкновенно согревая их у камина, пытаюсь глядеть ему снизу в глаза, Ион быстро, настойчиво убеждал:

– Высшая цель у вас есть, Александр, я уверен, я знаю отлично, хотя вы ни мне, никому не говорите об ней, как и подобает такому серьёзному, такому обстоятельному, пристально размышляющему о бытии и небытии человеку, как вы, вы только не знаете, как я это давно решил про себя, вы ещё не решили, должно быть, с чего и где вам начать, на каком именно поприще, с какой стороны к высшей цели пойти, в этом именно я убеждён и готов присягнуть на Евангелии.

Вся эта бестолковая болтовня странным образом была похожа на самую горькую правду, высшая цель в самом деле была, не генералом же он силился превзойтись к дряхлости лет, не действительным тайным советником или министром, только этакой гнусности ему не хватало, чёрт побери, но чем-то всем вместе, в том-то и дело, что просто-напросто высшая цель сама по себе, к которой не знаешь, как подступиться, ай да шагай, Богдан-Иоганн, и он с глубокой тоской поглядел на бывшего своего гувернёра и не то пошутил, не то серьёзно сказал:

– Э, Богдан Иваныч, душа голубиная, остерегись, не поминай имя Господа нашего всуе.

Ион протянул к нему длинную руку с неловкой лаской в посветлевших глазах:

– Это вы остерегите себя, Александр, возьмите судьбу свою в ваши руки, не то, прости Господи, не страсть бы беде, это я так понимаю про вас, надежда моя, светлый ум, исполн дарований, молю вас, услышьте меня.

Эка загнул, исполн дарований, Шиллер с Карамзиным, тоже пророк, чёрт возьми, и какие глаза, у Жуковского, должно быть, точно такие, когда зарыдает, сидя над ручейком, и он неприязненно вскинулся, стоя боком к нему:

– Ты с чего взял, что беда?

Отдёрнувши руку, точно обжёгся на жарком огне, с тотчас поблекшим, болезненно горьким лицом, моргнувши несколько раз, уж не смахнул ли слезу, Ион с горячностью изъяснил:

– Дух ваш дерзок, восприимчив, непостоянен, непостижим и слишком, чересчур ужасно раним, это я наблюдаю за вами с каких ещё лет, а с духом таким либо на подвиг идут, либо лихая беда, кабак да сума, у вас говорят, середины вам нет, как не остеречься, я покой потерял из-за вас.

Отходя от него ещё дальше, из суеверия не желая накликасть ещё новой беды, когда одна уже разразилась над ним, он скривил тонкие губы и оборвал, как всегда то обрывал, чего не хотелось слышать ему:

– Уж больше куда?

Ион понял, должно быть, что сам он страшится и тоже покой потерял, сжался как от удара, едва слышно сказал:

– Слава Богу ещё, могла страсть и побольше беда, ох как могла, Александр!

Он рассердился не в шутку, круто оборотился к нему и с негодованием вскрикнул:

– Человека убили! Чего же надо тебе?

Ион робко, но укоризненно поднял глаза:

– Да, Александр, человека убили, да могла быть и большей беда: человека могли убить вы.

Он вдруг застонал и выдавил хрипло:

– Прости, Богдан Иваныч, прости, что кричал, истинно глуп. Прав ты, ах как ты анафемски прав!

Ион потушился, посоветовал тихо:

– Вам бы настоящее что-то начать, Александр.

Он не нашёлся, что ответить ему, и голубые детские умоляющие глаза из потухавшего серого пепла глядели опять на него, напоминая, как тяжело, как непоправимо и навсегда он виноват перед ними и как вся его жизнь, задуманная так благородно, так звучно, была мелка и мерзка.

Он попросил:

– Оставь меня, побуду один.

Ион с осторожным вниманием поглядел на него, хотел что-то сказать, однако согласно кивнул и своей неуклюжей походкой тотчас направился к двери.

Дверь с шумом отворилась навстречу ему. Из тьмы коридора явился, как на театре, Каверин с детски невинной и ясной улыбкой, с румяным лицом, весь в каплях дождя на плаще, на фуражке и на потемневших усах.

Ион едва успел увернуться и с неуклюжей учтивостью сделал поклон.

Каверин, широко шагнув мимо него, всё улыбаясь, прямо на пол стряхнул с фуражки блестящие капли дождя, скинул плащ, собрал толстыми складками лоб и с той же невинной и ясной улыбкой серьёзно сказал:

– Велика тринкену принести.

Александр так обрадовался ему, что в беспамятстве закричал:

– Сейчас принесу!

Каверин посторонился, но придержал его за рукав:

– Полно, брат, бегать, кликнул бы Сашку, чёрт побери.

Он отстранил руку Каверина и мельком взглянул на безмолвно выходившего Иона:

– Нет, я сам, не дождёшься его, лентяй и балбес, а ты, Богдан Иваныч, куда?

Ион невозмутимо ответил, приостановившись в дверях:

– Вы мне напомнили, Александр, что у меня дома дела.

Он подскочил, хотел удержать чудака, они вышли вместе, и он, опять с язвительным чувством непоправимой вины, перед Васькой, перед немцем, перед собой, извинился горячо, от души:

– Ты не так понял меня, Богдан Иваныч, милый ты мой. Я только просил тебя прекратить разговор, чтобы подумать о моей судьбе самому. Это нехорошо. И о высшей цели ты истинно прав, должна быть высшая цель, из чего же тебе уходить? Каверин пришёл!

Ион ласково улыбнулся, точно ребёнку, открывая широкие, крупные, чуть желтоватые зубы, безоговорочно тотчас прощая его:

– Я всё правильно понял, да вспомнил, что дела дома ждут, я вам не лгу, а Пётр Павлович покуда с вами побудет, не заскучаете, где уж.

Он разглядел, что Ион в самом деле ничуть не обиделся, но из деликатности желает уйти, милый такой человек, и крепко обнял его:

– Ещё раз прости.

Ион в ответ пожал руку:

– Успокойтесь же, Александр, доброй ночи, завтра непременно вас навещу.

Он посмотрел ему вслед, затем подошёл поспешно к буфету, хлопнул дверцами, звякнул стаканами.

Сашка, мирно спавший на стуле, со свешенными руками, с отвислой губой, пробудился от этого шума, не удивился, но тотчас вскочил:

– Степан Никитич приехали, да²²?

Эта мысль поразила его:

– Ты с чего взял?

Сашка нахмурился, отнял поднос, огрызнулся:

– Так Пётр Палыч, мне с чего брать? Или на радостях, или они-с. Кто ж ещё тотчас пить, как взойдёт? Да вы этак-то всё перебьёте. Небось сам принесу.

Ах, Степан! Вот кто первый развернул в нём его лучшие свойства души, любовь к добру и к общему благу, честность и всё, в чём истинно состоит души красота. Вот бы с кем нынче, с кем же ещё?

А Каверин тоже славный был человек. Александр немного знал его ещё по Москве. Они вместе езжали на лекции. Оба жадны были до истинных знаний. Оба, смеясь и язвя, бранили скудоумных и скучных наставников, скудоумных и скучных же был легион. Каверин год спустя соблазнился в Германию и звал его вместе с собой, да матушка бы не пустила его в чужие края одного, да и что ему там? После войны они встретились вновь. Каверин был тоже гусар, лейб-гвардеец, поручик, прежний умница, пламенный друг, всем известный картёжник, дуэлянт и буян, с добрым сердцем и верным чутьём на чужую беду. Ещё летом, дня через два как он остался в Петербурге один, без Степана, они сошлись ненароком у Лареды, и Каверин, с этой детской, невинной и ясной улыбкой, тотчас громко заговорил: «Что? Бегичев-то уехал? С кавалергардами походом в Москву? Тебе без него, верно, скучно? Ну, так я к тебе перееду». Он был рад от души, согласился, да подумал потом, по дороге в театр, что это одна ресторанный шутка. Из театра отправился он на чердак к Шаховскому, поздней ночью воротился домой и нашёл у себя пенатов чужих, каверинских то есть, сам же Каверин воротился под утро, пьян да умён, с ворохом денег в фуражке, пил да играл. И они прожили вместе, пока тоска его не прошла. Славно шутили день напролёт, славно болтали и болтались всю ночь, и, может быть, с ним теперь не приключилось бы то, что приключилось, да Каверин, видя его подряд три недели весёлым, молча исчез, забравши свой чемодан, а его вновь изгрызла тоска.

В коридоре он постоял в праздном раздумье о превратностях бытия, засветил угасший было светильник, усмехнулся, покрутил головой и с улыбкою, чуть не счастливой, воротился к Каверину.

Сашка явился следом за ним с подносом в руках, аккуратно поставил на стол, приготовил стаканы и потянулся было к бутылке, да Каверин ловко выхватил бутылку из Сашкиных рук:

– Вечно копаешься, Сашка.

Сашка флегматично заметил, тоже остряк:

– А куда мне, Пётр Палыч, спешить?

Каверин захохотал, затряс головой:

– Верно, брат, спешить тебе некуда, ты вина в рот не берёшь, зато я всегда тороплюсь.

Ловко выстрелил пробкой и наполнил стаканы пенной струёй, приглашая:

– Пей, Александр!

Одним духом выпил полный стакан, провёл ладонью по обсохшим пушистым усам и громко спросил:

– Отчего не приехал в театр? Я поджидал тебя в креслах, глазел, глазел на левую сторону, на твой бенуар, аж глазелки болят, а кто виноват?

Он без желания сделал глоток и с удивлением уставился на Каверина:

– Ты разве был?

Каверин ещё раз наполнил стакан и поднял его:

²² Степан Никитич приехали, да? – т. е. Бегичев (см. выше).

– Ага, понимаю тебя!

Выпил жадно, точно не сделал за целый день ни глотка, молодецки провёл по усам:

– Потому и приехал к тебе.

Александр бы хотел изъяснить про глаза и про то, как у себя, через несколько улиц, тяжело умирал Шереметев, весь в липучем смертном поту, которого они не спасли от пустого дурачества, а дурачество, видишь, чем обернулось, беда, однако ж не мог именно обо всём этом сказать ничего и только угрюмо сказал:

– Так было должно.

Склонясь над столом, пробарабанив крепкими ногтями кавалерийскую трель, Каверин исподлобья изучающе поглядел на него, точно не видал никогда:

– Не спорю, что должно, да больно уж глупо, ты мне поверь, от другого кого, от тебя-то не ожидал, испечалился как херувим, того гляди, балладу испустишь в слезах, ну, там доски трещали, кости в кости стучали, а умный ведь, кажется, человек, к тому же наш брат гусар, не смотрю, что в отставке, а наш.

Не осознавши ещё, но уже ощутив, что в самом деле поступил неумно, Александр, пытаясь скрыть замешательство, сделал неторопливый глоток, но шампанское не шло ему в горло, право, меркнул очи, кровь хладеет, усмехнулся он про себя и глухо спросил:

– В положении самом ужасном для чего я нынче в театре?

Каверин нахмурился, мотнул головой:

– В таком положении надобно пить, ты вот и пей, губы-то не криви, преотличная вещь, а в театре быть должно затем, чтобы видели всё, что ты непричастен к этому несчастному делу, вот так-то, мой друг, разумей.

Эта мысль поразила его, хотя нечто подобное он сам советовал Иону, да он и на минуту представить не мог, чтобы совет, данный Иону, здравый и верный, относился также к нему, и он оставил стакан:

– Каким образом? Я же там был! И с тобой! Кто ж об этом деле нынче не знает? Весь свет!

Каверин рассмеялся беспечно, откидываясь назад:

– Очень даже простым! Нас не было там, ни тебя, ни меня, понимаешь? Для очевидности этого я преспокойно поехал в театр: глядь, тебя нет, экий осёл. Истомина страсть была как мила.

Такого рода поступки не умещались у него в голове, благородство и честь, да тут же наглая ложь, и он только из любопытства с подозрительным видом спросил, размышляя, не розыгрыш ли это Каверина, Каверин большой был на разные штуки мастак:

– Истомина не знает ещё?

Каверин искоса взглянул на него, ловко двигаясь, вновь поднимая бутылку:

– Должно быть, не знает пока, а впрочем, женщины скрытны, как ведьмы, не то что наш брат, поди угадай.

Наблюдая, как шампанское с лёгким шипеньем и мелкими брызгами переливалось в высокий стакан, он вдруг понял весь смысл внезапного соединения самых несоединимых понятий, честь, благородство и ложь, однако вместить такого рода салат тотчас не смог и сердито отрезал, точно чем-то липким измазаться мог:

– Однако же мы с тобой были там! Обстоятельство это в обществе доподлинно станет известным! В общем мнении кто ж тогда мы?

Каверин поставил бутылку рядом с собой, поднял стакан, выпил неторопливо, спокойно, расправил усы, поставил со стуком стакан подле бутылки, долгим взглядом посмотрел на него и укоризненно покачал головой:

– Я люблю тебя, Александр, умнейший ты человек, редкая голова, у нас таких голов одна или две, разве что три, но отчего по-прежнему глуп, как мальчишка? Ты на эти вещи трезво взгляни.

Он обозлился:

– Как же, много надо ума, чтобы знать, что Шереметев не нынче, так завтра помрёт, что следствие неминуемо заведётся, что на следствии спросят тебя и меня и что нам останется только полную правду сказать, как сказать подобает порядочным людям. Кто ж из нас двоих глуп и осёл?

Согнув пальцы, Каверин костяшками гулко постучал по крышке стола, улыбаясь ехидно:

– Глуп, естественно, ты, Александр, да я затем и приехал, чтобы ты непременно к утру поумнел и, поумнев, ответственвал следственным дуракам: тебя не было там, не было даже во сне, а я затем словом чести заверю, что был вместе с тобой.

Он взмахнул резко рукой, запенив свой стакан, и вино расплескалось, расплзаясь бледным пятном:

– Не стану я лгать!

Каверин устроился поудобнее, вытянул ноги под стол и принялся неторопливо высвобождать из плетёных петель медные пуговицы своего доломана²³, насмешливо говоря:

– Вспотеешь с тобой...

И, вытянув шею, взяв с верхней пуговицей, с издёвкой спросил:

– Стало быть, пожалуйста на Кавказ рядовым, так я понимаю тебя?

Глядя на пятно от пролитого вина, в самом деле отлично понимая Каверина, допрашивая себя, что был бы наш ум без трезвого взгляда на обстоятельства жизни, тут же возражая себе, а что был бы наш трезвый взгляд на обстоятельства жизни без силы ума, ужасаясь с трезвостью потерять благородство души, он согласился устало, вычерчивая указательным пальцем круги:

– Это куда уж пошлют.

Распахнувши мундир, сунув руку в карман, подбоченясь, Каверин, дерзко смеясь, как часто смеялся, когда карта в целый вечер не шла, продолжал убеждать:

– Да ты сам рассуди, Александр: первое, во всей этой дурацкой истории мы с тобой ни при чём, второе, дело чести не должно быть подсудно людскому суду, третье, мне больше Тифлиса, грязнейшей дыры, нравится туманный Санкт-Петербург, у меня такой вкус, уж ты прости дурака, впрочем, думаю, как и тебе более Санкт-Петербург по душе, куда как приятно всякий вечер в левом бенеуаре сидеть, на кой же дьявол тащиться туда, коли пошлют, а пошлют непременно, им до нас дела нет, у них такой вкус, подлецы.

Похоже, Каверин этак и всегда рассуждал, выгораживая лазейку для совести, пил, буянил, стрелялся, в карты играл, полагаясь на трезвость рассудка, которая превыше всего, да так и просвищет целую жизнь, не заботясь, что об нём скажут современники, тем паче потомки, трезвость рассудка бесстыдна без благородства души, в Петербурге остаться, экая цель, паскудство одно, а без трезвости рассудка тоже нельзя, дурак дураком, башку подставлять, это он прав, и Александр удивился, заговорив о другом:

– Как не подсудно? Есть же указ!

Каверин стремительно, грациозно, небрежно поднялся, порога во всём, нетерпеливо дёрнул шнурок, хотел было крикнуть, раскрыл уже рот, но дверь тотчас же отворилась навстречу ему, всунулся Сашка с задорным лицом и подал зажжённую трубку, довольно смеясь:

– Готово-с.

Каверин, принимая трубку, захохотал:

– Ну, Сашка, выучил я тебя!

От удовольствия Сашка так и светился:

– Рад служить.

²³ *Доломан* – предмет гусарской униформы, короткая куртка, расшитая на груди шнурами, на которую накидывался ментик.

Глядя на них, двух шутов, слушая их неуместную болтовню, он громко и хмуро проговорил:

– И мне подай, Александр.

Сашка неторопливо исчез, объявив:

– Сей минут.

Каверин курил, развываясь на диване, философствуя, окутываясь густыми клубами табачного дыма:

– Указ имеется, как же у нас без указа на всё, не спорю с тобой, ни также с царём, да ты здраво об нём рассуди, на то светлый разум человеку от провидящего Творца, с какой стати в петлю без толку лезть?

Он махнул сердито рукой, недовольный преобидным промедлением Сашки и ещё этим небрежным тоном наставника, каким Каверин любил говорить иногда, точно Ион:

– Э, брат, я вечный пасынок здравого рассудка, оттого у меня всё не на месте, раз навсегда.

Однако очевидная мысль, что указы и честь сопрягаются далеко не всегда, то есть, в сущности, никогда, и что в том и состоит независимость умного человека, чтобы своим умом рассудить, где закон и где честь, была так внезапна и так глубока, что поневоле завлекла в любопытство, и он, взявши безучастно трубку у Сашки, машинально, без злости поворчав на него, что промедлил и страшный лентяй, размышляя по-новому о признаках благородства, о трезвости и об уме, как бы надо было все эти вещи теперь понимать, торопливо слушал Каверина, который заговорил афоризмами, как любил щегольнуть после первой бутылки вина:

– Ум просвещённый не может остановиться на старых понятиях, вот что прежде пойми, иначе с умом, а дурак дураком.

Эта вполне отвлечённая мысль ничего не прибавляла к запутавшимся его размышленьям, и Александр огрызнулся, сильно выдохнув дым:

– Ты меня этой избитостью не корми, не люблю!

Закинувши руку под голову, окутанный дымом, точно в тумане висел, Каверин рассуждал не спеша:

– Славный Руссо выразил весьма дельную мысль, что всякое государство не волей Божией держится, как нам с детства педагоги твердят, а общественным договором²⁴ всех его граждан совместно, всех как один, вот оно как, понимаешь?

Он раздражённо вскочил, сам не соображая зачем, отмахиваясь, вскричав:

– Экой дурак!

Каверин засмеялся глухо, сквозь дым:

– Это ты брось, Руссо не дурак.

Он нервно ходил, позабыв, что в руке у него разожжённая трубка, рассыпая горящий табак:

– Ты дурак, полагая, что я до сей поры Руссо не читал, нынче сей автор сильно в моду вошёл среди юношей, так давно бы пора, наши умники припозднились годков на пятнадцать, я тогда ещё в пансионе торчал.

Каверин остановил благодушно:

– Не горячись, погоди, экий порох, наши юноши глупы, так пусть, дай мне мою мысль досказать.

Толкнув стул, из каких-то резонансов торчавший у него на пути, он бросил сквозь зубы, скривившись от боли, прострелившей колено:

²⁴ *...всякое государство... держится... общественным договором...* – Речь идёт о сочинении Жан Жака Руссо «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1762), в котором обосновано право народа на свержение абсолютизма.

– Изволь, доскажи, я не мешаю тебе.

Каверин с наслаждением затянулся, прижмуря шальные глаза, и вдруг произнёс:

– Славный держишь табак, люблю у тебя покурить. Где ты только на эти приятности деньги берёшь?

Он ответил, переставляя к стене чёртов стул:

– Матушка присылает, а что?

Каверин сокрушённо вздохнул:

– А я вот долгами живу.

Он вдруг оскорбился без всякой причины и угрожающе протянул, с гневом взглянув на него:

– Доживёшься, гляди.

Каверин затянулся опять и вовсе закрыл от блаженства глаза, мечтательно говоря и вздыхая:

– Право, славный табак, чёрт тебя побери, Александр, матушка сильно любит тебя.

Он возмутился, быв нетерпении:

– Славный Руссо! Славный табак! Что ты за славный дурак!

Каверин приоткрыл один глаз и улыбнулся хитро:

– Позлись, позлись, я заметил, ты мыслишь трезвее, как ужасно сердит. Так вот, продолжаю. Согласно Руссо, истинная власть исполняет беспрекословно этот основанный на разуме договор и служит благу и процветанию нации, ложная власть общественный договор, по своей тупости, а по животной жадности чаще, нарушает и тем разоряет народ. Какие же выводы следуют из сего постулата? Из сего постулата логически следует, чёрт побери, что всякий гражданин ответствен перед властью лишь до тех пор, покуда соблюден общественный договор, то есть ежели нация процветает, а ежели нация бедствует, народ не вознаграждён за труды свои на благо отечества, власть же не желает или не имеет способности поправить беду, служа только одним своим мелким прихотям, сооружая палаты себе и своим лизоблюдам, но не благоденствию вверенного ей государства, гражданин сам собой освобождается от ответственности перед такой властью, несостоятельной, быть может, преступной. Это всеобщий закон, и на этом законе держатся все отношения между гражданином и властью. Ум непросвещённый сего важного закона не сознает и нарушает его, оставаясь ответственным перед властью даже тогда, когда власть давным-давно и препакостно нарушила общественный договор. Ум просвещённый этот всеобщий закон сознает и тотчас с себя снимает ответственность перед властью, коль видит, сколь беззастенчиво нарушается общественный договор. Ну-с, эту истину я тебе доказал?

Размышляя о том, сколько непросвещённых, лишённых к тому же благородства души, с умилением, даже с чувством достоинства служат из мелких выгод недобросовестной власти, удивлённый, что все эти истины издавна знал, да не думал так ясно об них, завлечённый в беспутную жизнь, тогда как Каверин, живущий сто крат беспутней его, так определительно думал об этих вещах, он буркнул через плечо:

– Эту истину ты доказал, что докажешь ещё?

Отставивши трубку, Каверин поднялся:

– Горло пересохло с тобой.

Подошёл вразвалку к столу, наполнил полстакана вином и медленно, с удовольствием выпил, затем поглядел на него и как ни в чём не бывало сказал:

– Гляди, устроишь пожар.

Только тут он увидел летящие искры и ткнул трубку в угол, прикрикнув, раздражённый до крайности:

– Ты мне голову не морочь, дальше-то что?

Избоченясь, засунув руки в карманы, светло улыбаясь, Каверин с искренним удивлением протянул:

– Невыносимый ты человек, Александр, за что я тебя так крепко люблю?

Понимая, что ведёт себя глупо, но пытаясь раздраженье сдерживать, бурлившее в нём, больно задетый мыслью о том, что его понимание благородства и чести выходило с какой-то ошибкой и, может быть, было и ложно, намереваясь на досуге ещё подумать об том, какие случаются последствия в жизни, ежели имеется благородство и ум без трезвости здравого смысла, однако ж потом, время случится, теперь минуты не утерпеть, угадывая уже, куда столь искусно клонит Каверин, он его оборвал:

– Не люби, чёрт с тобой, но уж коли начал болтать, так изволь продолжай!

Каверин засмеялся, покачиваясь, привстав на носки:

– Ага! Пасынок здравого рассудка! Эх задел я тебя за живое! То ли будет, держись, ещё перцу задам!

Это неподдельное добродушие само собой смягчало его раздражение, за добродушие он Каверина и любил и сносил его грубые шутки, и он потише уже пригрозил:

– Смотри, рассержусь.

Каверин беззлобно дразнил:

– Ещё не сердит?

Вскинувши голову, он не сдавался, руки скрестив:

– Только начал ещё, погоди.

Каверин сел и вытянул ноги, мешая ходить.

– Жаль, тогда не поймёшь, однако попробую тебя убедить, что этот глупейший указ императора для нас с тобой не указ, каково? Ты, разумеется, помнишь, как многие помнят, «весну Александра»²⁵, как в те поры высокопарно именовали его начинанья? Правление Павла²⁶ было уже слишком сурово. Правда, те, которые близко знали его, говорят, и я им несколько веры даю, что в характере Павла были черты, внушавшие уважение, что он не чужд был ни рыцарской честности, ни великодушия, ни понятия справедливости. Всё это вполне может быть, однако над всем этим господствовал произвол беспредельный, минутная раздражительность, право, совершенно как у тебя, Александр, чуть не комплимент тебе говорю, так что и лучшие качества у него выражались в такой дикой форме, что внушали один только страх: а что как из понятия справедливости напрочь башку оторвёт? Он в самом деле обнаруживал желание ввести справедливость, уничтожить злоупотребление власти и что-то ещё, прости, в вещах этого рода я не силен, но всё это помощью одного произвола и в форме самой суровой, чуть что, так в Сибирь. Самые мелочные формальности чиновничества, субординации и фрунта распространялись на все сферы государственной жизни в мгновение ока, точно всем по вкусу пришлось, и заслонили важнейшие интересы государства и общества. Он сам всё хотел видеть, всё хотел знать, повсюду лично водворять добродетель, в раздражении налетал то туда, то сюда и всех сурово карал, кто попадался ему под горячую руку, не разбирая, кто прав, а кто виноват.

Он помнил, беспредметно и смутно, то давящее, беспокойное время, однако в эту минуту его возмутило иное.

– Позволь, массе нашего общества самым несносным представлялось гонение круглых шляп и французских нарядов, да ещё гонение лиц, не поспевших, встречая его величество на прогулке, остановиться и вовремя отдать ему должную почесть, Алексей Фёдорович, дядя, сгибаться готов да рядиться мастак, этак тяжко вздыхал, отправляясь с визитом.

Каверин с удивлением взглянул на него:

²⁵ ...помнишь... «весну Александра»... – Александр I (1777-1825), старший сын Павла I, российский император с 1801 г., в начале правления провёл умеренно либеральные реформы, подготовленные Негласным комитетом и М. М. Сперанским.

²⁶ *Правление Павла...* – Павел I (1754-1801), российский император с 1796 г., ограничил дворянские привилегии, ввёл в армии прусские порядки. Убит заговорщиками-дворянами.

– Слава Богу, ты, кажись, стал оживать и ты прав: общество наше было в ту эпоху разбоя мало приготовлено к осознанию своего отношения к власти, так очевидно нарушающей общественный договор, непросвещённость, темнота безрассудства, ты припомни, чему и как и с какой охотой учились в те времена.

Он остановил его излишние, иронически бросив:

– Стало быть, по твоим рассуждениям наше общество нынче готово грудью стоять за общественный договор?

Каверин потянулся было к бутылке, но оставил её:

– И нынче наше тёмное общество ни к чему не готово, полно умничать, Александр, ты фантазёр, где твоя трезвость ума? Однако же не помнить нельзя, что неправая власть сама готовит общество к пониманию, это, брат, азбука всей общественной жизни, от неё не уедешь.

Он холодно рассмеялся:

– Что-то мало я вижу готовых! Не те ли, что только и помышляют о будущем чине? Не те ли, что самых дальних за уши вытянут, кто из родни, а всем прочим ставят палки в колеса, не вздумай пройти, дремучее местничество у которых в крови? Или же те, у которых один театр да театр на уме? Или те, что праздно болтают в самом тесном кружке из пяти человек о свободе да братстве, серьёзно прежде ничему не учась?

Каверин, шутя, перебил:

– Или же те, которые беспрестанно злятся на общество, которое ни к чему разумному и благородному не готово? И ты опять кругом прав, однако ж изволь дослушать меня до конца. В том обществе, времени Павла, всё-таки жили идеи закона и справедливости. Вспомни, какой радостью была встречена весть, что Павла не стало: незнакомые граждане обнимались на улицах, вот оно как!

Он едко вставил:

– И тотчас разрядились во французские фраки, идея закона и справедливости на том и почил.

Каверин продолжал, пропустив его замечание мимо ушей, с весёлым блеском в шельмовских красивых глазах:

– И ожидали, что правление переменится и на место насилия и произвола явятся законность, справедливость и уважение к личности гражданина. Эти ожидания подтвердились как будто первыми указами нового императора²⁷. Все отставленные по произволу возвращены были на службу, то же с упрятыми неправо в Сибирь или с заточенными в крепость, то же с восстановлением прежних достоинств, среди которых были Радищев и славный Ермолов. Беглецам, укрывшимся в европейских пределах, объявилась амнистия. Отъезд по личной надобности из пределов российских сделался совершенно свободен. Полиции воспретилось выходить из уставов, что она прежде делывала на каждом шагу. У солдат были отрезаны немецкие пукли. Тайная экспедиция была уничтожена. Сенату повелевалось представить доклад об обязанностях своих, а также правах. Университеты были открыты для торжества просвещения истинно русского. Учение давало право на чин, чего прежде доискивались низкопоклонством и лестью.

Он иронически продолжал, в тон ему:

– Университеты, которым не находилось порядочных русских профессоров и в которые профессора приглашались из немцев, не знавших ни звука по-русски, так что их слушатели по этой причине понять не могли, а право на чин возмутило всех тех, кто чинов доискивался низкопоклонством и лестью и кто в учении по этой причине видит хуже чем якобинство, сам ничему не желая учиться.

²⁷ *Эти ожидания подтвердились как будто первыми указами нового императора.* – Имеется в виду указ Александра I от 15 марта 1801 г. «О прощении людей, содержащихся по делам, проводимым Тайной канцелярией».

Каверин расхохотался, чуть не до слёз:

– Эк забрало тебя! Да много ли их? Одни старики. Стоит ли об стариках толковать?

Он гневно воскликнул:

– Не одни старики! Случаются притки из молодых! Не так уж и мало, да суть дела не в том!

– Помилуй, а в чём? Ты сердит, вся суть дела в том.

– Я точно, ужасно сердит. А суть дела в том, что и нынче неучи все наверху, у них власть, не у просвещённых людей, и по милости неучей все указы остаются, как водится, на бумаге, хоть плюнь, а к многим замыслам даже нельзя приступить.

– Э, да чёрт с ними, рано ли, поздно ли, место неучей заступят иные, с новым правом на чин.

И продолжал прежним тоном, в такт словам похлопывая себя по бедру:

– Объявилось намерение улучшить положение подневольных крестьян.

Он тотчас язвительно вставил:

– Которое не было поддержано ни обществом, предводительным французскими фраками, ни этими вельможами прежних времён, которые отродясь ничему не учились, ни даже молодыми соратниками самого государя, которые учились кое-чему, ни, кажется, даже самими крестьянами.

Каверин только на его филиппику улыбнулся, словно бы великодушно прощая неуместную эту горячность, когда вся беседа исключительно философски велась:

– Сперанский приглашён был для составления конституции.

Эта улыбка, эта настойчивость заблужденья бесили его, и он всё язвительней возражал, сверкая злобно глазами:

– И вскоре был сослан без следствия и суда по наветам прежних вельмож²⁸.

Каверин лукаво прищурился:

– Дух преобразований слышался в этих первых шагах молодого правителя, воспитанного республиканцем Лагарпом на творениях Руссо и Мабли²⁹.

Он ядовито отрезал:

– Свежо предание, да верится с трудом.

Каверин вдруг посерьёзней и подался вперед:

– Ага, забирает! В том и состоит моя мысль. Возбудив этот соблазнительный дух, правительство не провело никаких серьёзных положительных преобразований, даже напротив, слишком скоро поворотило назад, точно перепугалось своих же собственных добрых намерений. О законности и справедливости было забыто. На место конституции нам дан Аракчеев с открытыми бланками, которые может заполнять по своему произволу. Военные поселения ухудшили положение многих тысяч крестьян. В просветители даны нам Магницкий и Рунич³⁰. Русские командиры сплошь заменяются немцами.

Он недовольно поморщился:

²⁸ *Сперанский приглашён был для составления конституции... И вскоре был сослан без следствия и суда по наветам прежних вельмож.* – Сперанский Михаил Михайлович (1772-1839) – граф, ближайший советник Александра I. По поручению царя составил «План государственного преобразования», предусматривающий ряд конституционных реформ. План был в целом отвергнут, Сперанский был уволен и в 1812-1816 гг. находился в ссылке.

²⁹ *...воспитанного республиканцем Лагарпом...* – Лагарп Фредерик Сезар де (1754-1838) – швейцарский адвокат, республиканец, гуманист, человек высоких нравственных качеств. В 1784-1795 гг. воспитатель будущего русского императора Александра I. Через Лагарпа Александр воспринял идеи французского просвещения, позднее выразившиеся в лозунгах Великой французской революции. *Мабли* Габриель Бенно де (1709-1785) – французский коммунист-утопист.

³⁰ *В просветители даны нам Магницкий и Рунич.* – Магницкий Михаил Леонтьевич (1778-1844) – попечитель Казанского учебного округа. *Рунич Дмитрий Павлович* (1778-1860) – попечитель петербургского учебного округа, один из рупоров реакционной части дворянства, сторонник усиления влияния религии в вузах. Вместе с Магницким автор проекта цензурного устава (1826).

– Воля твоя, всё это известно даже нашим студентам, которым ничего не известно, даже если их розгами сечь.

Каверин вдруг рассердился, кажется, непритворно:

– Воля твоя, верно, пасмурная погода слишком тебя раздражила, возьми терпение дослушать меня.

Он почувствовал, как смешон со своим раздражением, и тотчас нахмурился, на сей раз притворно, понимающе улыбаясь одними глазами:

– Помилуй, я целый вечер терплю!

Каверин искоса взглянул на него, тоже улыбнулся одними глазами, точно давая понять, что понял его, и серьёзно проговорил:

– Так вот, не являются все эти действия нарушением договора правительства с гражданами России? Вне всякого спора, являются, именно так. Стало быть, в недавние времена служить правительству с нашей стороны было честью, нынче чести более в том, чтобы решительно уклониться от службы.

Он не удержался от шутливой насмешки:

– А я-то гадаю, отчего ты всё служишь?

Каверин ответил спокойно:

– Я не из чести, я из денег служу, а честь мою в том полагаю, чтобы жить независимо, как я хочу, а не как жить мне свыше велят.

Переставши смеяться, он склонил голову набок, словно бы извинялся всем своим видом за эту выходку против него:

– Прости, мой милый, у меня раз навсегда голова не на месте. В речах твоих много смысла, над этим предметом надобно вдосталь подумать, но каким образом сладишь ты с Якубовичем, который из денег не служит?

Каверин не задержался с ответом:

– С Якубовичем я уже говорил, он поклялся не называть ни тебя, ни меня.

Дивясь расторопности, немного задетый, что Каверин хлопотал за него, его не спросив, однако сильно тронутый этим истинным проявлением дружбы, он, покусывая губы, спросил:

– Умно ли с твоей стороны, рассуди, полагаться на слово этого скомороха?

Каверин возразил без упрёка, вставая:

– Ты мало знаешь его. Он, точно, богат и служит Бог весть из чего, к тому же слишком позёр и хвастун, однако в известных случаях его честь вне всяких сомнений, положишься на неё, впрочем, в известных случаях только. Так что?

Он прислонился к стене, спрашивая об этом себя, а вслух смог только сказать:

– Право, не знаю пока.

Каверин бросил через плечо, подходя к шкафу, забитому книгами, стоящему у противоположной стены:

– Уволь хоть меня.

Размышляя о том, что случилось бы с ним, отрапортуя он всю правду суду, на который его призовут, он заверил негромко, но твёрдо:

– Будь надёжен. Да что тебе здесь? На Кавказе служить из денег даже сподручней.

Скрипнувши дверцей, выдернув толстый том из ряда других, Каверин сказал:

– В гвардии представления побыстрей. К тому же здесь у нас заводится что-то, аль не слышал? Умы как будто перестали дремать. Среди офицеров вместо карт да вина вдруг открылась новая страсть. Представь, принимаются книги читать!

Об этом деле неслыханном он тоже кое-что слышал, много смеялся, привыкнув видеть русского офицера за картами или вдребезги пьяным, и, тотчас припомнив без всяких усилий все свои опыты с ними, без малейших усилий с усмешкой по-немецки сказал:

– Пергаменты не утоляют жажды. Ключ мудрости не на страницах книг. Вот бы что им прежде чтения надобно знать.

Каверин возразил, перелистывая взятую книгу, не поворотив к нему головы:

– Ты так говоришь потому, что страницы книг предавно тебе были открыты на пяти языках, когда прочие ещё были юнцы и повесы, твой ум просвещён и приготовлен самостоятельно мыслить, а многим из нас ещё самое время чужими мыслями позапасться, дорога длинна, они в начале пути.

И поворотился к нему, с добродушной улыбкой тыча пальцем в страницу:

– Вот, люблюсь, поля сплошь покрыты язвительными заметками, а ведь это, помилуй, трактат Цицерона³¹, вволю разгулялся, гляжу, весьма и весьма пострадал от тебя Цицерон. Иным же, едва повзрослели, усы завели, в сладость и в пользу заёмная мудрость из книг.

Он неодобрительно протянул, опуская глаза:

– Давно бы пора.

Каверин вспыхнул, слишком громко сказал:

– Оно в любом возрасте хорошо, коли от самого сердца идёт. А ты вот послушай, как удачно открылось: «Можно обозреть как бы глазами ума всю землю и все моря, и вот ты увидишь обширные плодоносные просторы равнин, горы, покрытые густыми лесами, пастбища для скота, увидишь моря, по которым с невероятной скоростью плывут корабли. И не только на поверхности земли, но и во мраке её недр скрывается много полезных вещей, которые созданы на потребу человеку, и только люди их открывают». Стало быть, пусть себе открывают, когда в другое время не удосужились или не успели открыть. Я к ним иной раз забегаю для отдыха. Только жаль, что между ними в большом ходу Бенжамен Констан³². Мне всякий раз вспоминается прошлое. Славное времечко было! Отчего ты тогда остался в Москве? Тебе надо было со мной махнуть в Гёттинген. Что ни толкуй, по части философической германская нация выходит посерьёзней ветреных галлов. Куда твоему Вольтеру³³ до них, уж ты на меня не сердись.

Он уже успокаивался и ничуть не сердился:

– Полно, мой милый, немца Гёте³⁴ давно принял я в число тех, кого всем сердцем люблю и даже поставляю выше Вольтера.

Каверин тем временем отвернулся, сунул трактат Цицерона на прежнее место, с интересом зашарил глазами по корешкам, негромко сказал: «Вот он, ага!» – выхватил книжечку и обернулся к нему:

– Ну что, брат, давай наугад?

Развернул, где попало, громко прочёл:

Милая, каешься ты, что сдалась так скоро? Не кайся:
Помыслом дерзким, поверь, я не принижу тебя.
Стрелы любви по-разному бьют: оцарапает эта,
Еле задев, а яд сердце годами томит;
С мощным другая пером, с наконечником острым и крепким,
Кость пронзает и мозг, кровь распялет огнём.
В век героев, когда богини и боги любили,
К страсти взгляд приводил, страсть к наслажденью вела.³⁵

³¹ *Цицерон* Марк Тулий (106-43 до н. э.) – римский политический деятель, оратор и писатель.

³² *Бенжамен Констан* – Констан де Ребек Бенжамен Анри (1767-1830) – французский писатель-публицист.

³³ *Вольтер* (Мари Франсуа Аруэ) (1694-1778) – французский писатель и философ-просветитель.

³⁴ *Гёте* Иоганн Вольфганг (1749-1832) – писатель, мыслитель, основоположник немецкой литературы нового времени. Автор философского итогового сочинения «Фауст» (1808 – 1832).

³⁵ *Милая, каешься ты, что сдалась так скоро?* – Гёте «Римские элегии», перевод Н. Вольпин.

Каково?

Он тоже сказал, содрогаясь в душе:

Кто с хлебом слёз своих не ел,
Кто в жизни целыми ночами
На ложе, плача, не сидел,
Тот незнаком с небесными властями.
Они нас в бытие манят –
Заводят слабость в преступленье
И после муками казнят:
Нет на земле проступка без отмщенья!³⁶

Каверин изумился без шутовства, держа перед собой раскрытую книгу:

– Ого! Такого я от тебя ещё не слышал!

У него едва не сорвалось с языка, что Каверин много чего от него не слышал, но удержался, может быть, по застенчивости или из гордости, этого он решить не успел и с живостью продолжал, торопясь перевести внимание от смысла стихов, нечаянно выдававших его состояние, на другое:

– Шекспира заслуга великая: он создал театр европейский, однако и только, хотя это «только» о Шекспире стыдно сказать, особенно же нам, пока ничего не создавшим, тогда как Гёте воздействовал на самый дух своей нации, на просвещённые умы всей Европы, явиться к нему на поклон есть истинное счастье для молодого поэта или философа, писать к нему и получать от него письма завидно, – счастливцев Уваров³⁷! Ты сам не заезжал ли ненароком в Веймар?

Каверин отозвался беспечно, вновь склонившись над книгой, которую тоже, должно быть, страстно любил:

– Об этом визите я тогда не подумал, однако многое нахожу у него превосходным. Вот, слушай далее: «Или, думаешь ты, томилась долго Киприда...», впрочем, об этом нынче, пожалуй, не надо тебе.

Он возмутился, горячо попрекнул:

– Как много ты потерял! Ты мог бы видеть великого человека! Лицемерие великого человека даёт могущество всем нашим помыслам! Великая драма нашего времени в том, что вокруг нас не сыщешь великих людей! Я не пожалел бы полжизни, лишь бы видеть воочию Гёте или старца Вольтера! Кто прожил свой век с большим блеском? Чья жизнь протекла более громко, разнообразно и деятельно? Как решительно действовали они на умы современников, как вели их, куда хотели и куда полагали нужным вести!

Каверин поддакнул с иронией, тихо смеясь:

– Как удачно Вольтер спекулировал! Как низко подличал перед Фридрихом! Как Гёте с презрением отказался стать во главе освободительного движения, когда эту высокую честь германцы сами предложили ему!

Он саркастически улыбнулся:

– Ты прав: как неровна судьба, так Вольтер и Гёте тоже были неровны. Гляди хоть Вольтер! То светильник робкий, блудящий, то бичом сатиры ярко сверкнул реформатор, то гоним, то гонитель, то друг царей, то их враг! Целых три поколения сменились перед глазами великого

³⁶ *Кто с хлебом слёз своих не ел...* – Гёте, «Арфист» (1782), перевод Б. Пастернака.

³⁷ *Счастливцев Уваров*. – Уваров Сергей Семёнович (1786-1855) – министр народного просвещения, президент Академии наук, председатель Главного управления цензуры.

человека. В виду их всю жизнь провёл он в борьбе с невежеством, с суеверием политическим, богословским, школьным и светским и ратовал с обманом во всех его видах. И сколько сомнений всю жизнь! Не обманчива ли та цель, для которой он подвизался? Какое общее благо? Возможно ли? В чём оно состоит? Не колебание ли всё это умов, не твёрдых ни в чём? А Гёте? Нынче вышел в отставку, однако ж Веймар остаётся светочем просвещения, точно он прежний министр!

Каверин задумчиво глядел в раскрытую книгу, но не читал, а с тёплым чувством, с остановками говорил:

– Что поделаться, покаюсь перед тобой, не видел я ни Вольтера, ни Гёте, но зато видел Шеллинга³⁸ и ничуть не жалею об том. Душа Шеллинга поэтична, а разум светел и твёрд. Он толковал нам о свободе наших поступков в её естественной связи с необходимым ходом вещей. Вот бы послушать тебе! Он спрашивал нас, людей молодых, не исключает ли понятие необходимости понятия свободы, явным образом ему противоположного? Мы были, конечно, убеждены, как и многие убеждены до сих пор, не просветивши довольно ума, что эти понятия решительно исключают друг друга. Он соглашался, что на первый взгляд это действительно так, однако же так представляется только тому, чей взгляд скользит по поверхности, не проникая внешней оболочки явлений, а в действительности этого пресловутого противоречия необходимости и свободы вовсе не существует.

Каверин вздохнул порывисто, глубоко, поднял глаза на него и заговорил горячее:

– Необходимость не только не исключает свободы наших поступков, но даже является её предпосылкой и основанием для неё. Если бы не существовал необходимый, законосообразный порядок вещей, просто-напросто невозможна была бы свобода, ни личная, ни политическая, вот что необходимо всем нам понять. Я свободен только тогда, когда делаю то и так, что и как я хочу, но если при этом я не считаюсь с необходимым, своим внутренним законам подчинённым порядком вещей, я не имею возможности рассчитать, как в ответ на мои действия поведут себя эти вещи и люди, и необходимо оказываюсь в плену у случайности, то есть лишаюсь свободы. И напротив того, если необходимый порядок вещей мне известен, если я могу рассчитать противодействие или содействие тех, кто окружает меня, я поставлю перед собой лишь достижимые цели, отбросив без сожаления несбыточные мечты, и использую для достижения своих целей те средства, которые у меня под рукой. Только такой способ действий приводит к успеху, а не наши желания, каковы бы ни были они хороши. Свободен в философском смысле лишь тот, кто сознательно подчинился необходимости, то есть по своим неборимым законам живущей природе вещей. Кажется так, если я ещё не забыл.

Он пожал плечами, однако смеяться не стал:

– Чтобы открыть эти истины, не стоило тащиться в Германию, право. Приблизительно о тех же материях трактовал мне Буле.

Каверин искренно удивился:

– Да? Я об этом не знал.

И, сунувши книгу под мышку себе, потянулся к бутылке, снова налил полный стакан:

– Однако с тех пор я хочу только того, что могу.

Он прищурился, слегка согнув правую ногу в колене, несколько избочась:

– Но позволь, чем же не угодил тебе в таком случае Бенжамен Констан?

Каверин прополоснул вином рот и сокрушённо вздохнул:

– Видишь ли, в детстве невинном я был препылко влюблён в героев Плутарха³⁹, как, впрочем, и ты. Герои Плутарха во мне воспитали дух свободы, республики, героизма, наро-

³⁸ *Шеллинг* Фридрих Вильгельм Йозеф (1775-1854) – немецкий философ, представитель немецкого классического идеализма.

³⁹ *...влюблён в героев Плутарха...* – Плутарх (ок. 46 – ок. 127) – древнегреческий писатель, историк, философ-моралист. Главное сочинение – «Сравнительные жизнеописания выдающихся греков и римлян» – включает 50 биографий.

доправия, и вдруг мне хотят доказать, что в те времена личная независимость приносилась в жертву общему благу, что свобода общего оборачивалась для отдельной личности деспотизмом. С этим я согласиться никак не могу, хоть убей.

Думая о том, что в душе Каверина довольно и благородства, и трезвости, и ума, то есть того, что в совокупности составляет человека достойного, однако всё-таки не хватает чего-то ещё, чтобы Каверин возвыситься мог до величия, и вместе с тем как сложен, в сущности, человек и как труден, запутан его краткий путь на земле, и также о том, что чем проще и подлей человек с одной трезвостью, без сильного ума, без благородства души, тем легче, привольней живёт посреди нашей подлости, он задумчиво возразил:

– С этим можешь не соглашаться, но Констан, кроме того, говорит, что свобода нового времени не может быть свободой древних республик, что нынче свобода личности требует системы гарантий, которые обеспечили бы безопасность, не зависимость от произвола властей, что гарантии эти заключены в свободе печати, поставленной вне любых посягательств благодаря суду присяжных, в ответственности министров, в особенности младших чиновников перед тем же судом, это как?

Каверин бросил книгу на стол:

– Суд присяжных сам должен быть независим и неподкупен, а до такой благодати в России так далеко, что об этом далее не хочется думать, не только что толковать. Все подкупны, чёрт побери. Что у нас близко, вот в чём нынче важный вопрос?

Он слегка пошутил:

– Если я справедливо понял тебя, у нас близко одно: бесчестно вести себя в отношениях с правительством честно и честно обращаться с ним так же бесчестно, как оно изволит издеваться над нами.

Каверин, закинувши голову, громко захохотал, внезапно поднялся и крепко обнял его, говоря:

– Прощай, брат, мне пора.

Он опешил, безвольно подставляясь под поцелуи.

– Что вдруг? Ты куда?

Каверин уже был в сенях.

– Карета ждёт, а так никуда.

Накинул плащ, нахлобучил фуражку, и как появился внезапно, точно так же внезапно исчез.

Александр остался один. Мысль Каверина об отношении к власти не оставляла его. В самом деле, не сказать ли по русскому обычаю в нетях? Благоразумно, что говорить! Умён не тот, кто голову положил под топор, истинно умён тот, у кого голова на плечах, истина безусловная. И с философией в полном ладу, что приятно весьма, нельзя не признать.

Одна вот только беда: таким способом рассуждает также всякий подлец-расподлец, впрочем, ни с какой философией, ни с немецкой, ни с русской, не соглашая свои размышленья.

В подобных случаях у подлнца одна недолга: спасти бы башку от топора, от петли, от солдатской шинели, а там хоть трава не расти.

В таком случае порядочный человек чем же существенным разнится от подлнца? Одной философией? Не больше того?

Именно, именно...

Пожалуй, одно: на такого рода отношения с властью должна иметься в наличии благородная цель... то есть не из страха топора да петли да солдатской шинели... а из...

Ох же и тонко, тонко-то как: чуть шагнёшь без опаски, ан глядь – угодил в подлнца...

С какой стати не класть ему голову под топор?..

И эти детские голубые умоляющие глаза...

Куда ж деваться от них? Каким силлогизмом им-то себя изъяснить?..

Нет сомнений, он кругом виноват и должен быть наказан за всё, наказан жестоко, лишь бы не видеть этих детских голубых умоляющих глаз: тогда-то они перестанут глядеть на него, перестанут...

Наказан, наказан, жестоко наказан...

Он вскинул голову: те-то накажут его не за то!

Истинная вина его единственно в том, что не удержал Шереметева, не растолковал бурному мальчику дурацкого дела и тем погубил, под пулю подвёл, а те накажут его лишь за то, что на дуэли согласился быть секундантом и по уговору был должен стреляться вторым.

Разве это не глупо? Разве наказание, лишённое смысла, избавит его от этих умоляющих глаз?

Положим, что глупо, положим, что так...

Однако не слишком ли мало, чтобы себя самого не почитать подлецом?..

Такие вопросы он задавал себе даже во сне. Они леденили его своей жутью, какая бывает тоже только во сне. Что отыщется гаже того, чтобы видеть себя, хоть во сне, подлецом? Он пробуждался в жару и в испуге, пил воду, которую Сашка для него всегда ставил на ночь в графине, ворочался, сбивая в жгут простыню, и на место жутких вопросов о том, как ему поступить при допросе в офицерском суде, его леденили молчаливые, грустные, такие невинные молодые глаза.

Встал он вялый, с больной головой и никуда не пошёл. В окна его кабинета хмуро сочился пасмурный день. Александр завернулся в тёплый халат и приказал растопить пожарче камин.

Сашка долго возился, старательно дую на неохотный робкий огонь, подкидывая кусочками бересту, которая тотчас сворачивалась трубой и отчего-то не желала гореть.

Заложив руки за спину, с опущенной головой, он беспокоило ходил, ожидая тепла. Серые стены теснили его. Хотелось уйти. Но выйти с тем, чтобы кого-нибудь повстречать? И что и о чём говорить?

И он оставался между этими серыми стенами, однако наедине с собой тоже приходилось несладко, вопросы самого коварного свойства мутили и раздражали его.

Вот если самую чистую правду сказать, что была вся его прежняя жизнь?

Почти ничего.

Вся его прежняя жизнь была крохотный тесный мирок, давящий и теснивший его, не позволяя сделать шагу по-своему, волей своей, куда там, живи, брат, как велено жить.

В детстве была клетка материнского дома, затем университет, затем полк.

И вечно он ощущал, как дом, университет и гусарство точно в трясины завлекали его, искажали душу и ум, расслабляли характер, извращали самобытную мысль, обминали и перекраивали его в кого-то другого, каким он быть никогда не хотел.

Характер и мысль он, пожалуй, сберёг, а вот с честью как, с совестью, с благородством души?

Чем он жил? О чём он мечтал? Какими вздорами развлекал свою грешную скуку?

В детстве и юности, когда его мучили строгие наставления любящей матушки, он ускользал в свои книги, которых прочитал он, казалось, целые горы и которые насыщали его жаждущий ум, однако на что он готовил себя?

В полк он вступил добровольно, и тотчас отцы-командиры взяли из него изготовить ничтожество, впрочем, как и из всех остальных, без разбору, так что он заболел и болел чуть не год, да всё ж воротился в свой эскадрон и тотчас превратился в ничтожество.

Господи, что было бы с ним, если бы не занесло его в резервы к Андрею Семёнычу⁴⁰? В резервах он жил, в резервах действовал бескорыстно, на общее дело и нисколько не был ничтожеством, хлопоча не об себе, а об скорейшей нашей победе.

И вот затесался в иной, тоже тесный, как прежде давящий, искажающий, оскопляющий, тем не менее любезный сердцу мирок.

А любовь? Любовь-то во что превратила его?

Сашка вышел, так осторожно притворивши дверь за собой, что он не заметил, однако на эту из ряда вон выходящую повадку бездельного Сашки не стало смешно.

Он опустился в низкое кресло, вытянул ноги и безмолвно глядел на жадный огонь, сгрызавший поленья, и упорно думал о том, как его призовут в казённые стены, как холодно спряят, может быть, стороной уже доподлинно выведав всё скверное дело до нитки, и как он так же холодно должен будет там отвечать, не сбиваясь, обмирая в душе, как бы нечаянно не проговорились другие.

Честь и бесчестье мешались, сбивая с толку, заводя в тупики.

Он предвидел, естественно, самые каверзные запросы и находил самые убедительные ответы на них.

Да, спору не было, ответы звучали безукоризненно и логично, владеть собой он умел, когда надо было владеть, однако чем старательней приготавлился он отвечать, чем дольше об ответах своих размышлял, тем больше сердился, сознавая отчётливо, что одной безукоризненной логикой в таком надувательском деле не обойтись.

Важнее логики было правдоподобие.

Сомнений быть не могло: невозможно и глупо решительно всё отрицать.

Знал ли он о предстоящей дуэли? Как же не знать! Знал ли он о причинах её? Ещё бы не знал! Звал ли Шереметев его в секунданты? Что вы, Бог с вами, ваше превосходительство, само собой разумеется, что звать не посмел!

Да, вот именно такими словами и должно там отвечать, чёрт их возьми, так оно сойдёт хорошо, да ведь знали же всё, что он был Шереметеву близкий приятель, если не друг!

Как же тогда?

Не лучше ли так: точно, звал, да я, сукин сын, отказался, не имея, скажем, довольно досуга?

Хитроумная эта игра занимала его до самого вечера, и всё это время он был противен себе. Смеркалось уже, когда Сашка доставил ему из трактира в разогретой кастрюльке обед. Он ел безо всякого аппетита, с брезгливостью глядя в тарелку, и вдруг очевидная мысль поразила его: ему следовало вести себя просто, как будто ни в чём не бывало!

Вот он весь день-то не подумал об чём, а ведь если хорошенько размыслить, именно простота поведения и была важнее всего!

Он крикнул Сашке нести одеваться, выбрился чисто, до синевы, легко вошёл в чёрный фрак и выставил у самого подбородка тугие воротнички.

Из тёмного зеркала угрюмо глядел на него черноволосый, хорошего, должно быть, среднего или чуть повыше среднего роста молодой человек с длинным тонким стремительным носом, верный признак гениальных натур, как, впрочем, и короткий вздёрнутый сократовский нос, как он неизменно шутил сам с собой. Молодой человек был слишком худой, но зато выразительно строен, с движениями отрывистыми, неровными, странными, однако изящными, как подобает, имея хорошее воспитание, с узким, худым, некрасивым, но выразительным, интересным, благородным лицом, с длинными тонкими и насмешливыми губами, с властными, спо-

⁴⁰ *Андрей Семёнович* Кологривов – генерал, в 1813 г. занимался формированием кавалерийских резервов, у него адъютантом служил Грибоедов.

койными, тоже выразительными, живыми глазами, смотревшими сквозь маленькие продолговатые сильные стёкла очков.

Вполне мог бы нравиться хотя бы немногим, хотя бы самым избранным женщинам, так ведь нет, неспроста полагают, должно быть, что исчадия крикливого пола отдают своё капризное сердце лишь самым посредственным лицам, проще сказать, записным дуракам.

Вот беда, остроумная физиономия выдавала его, оттого исчадия крикливого пола не влюблялись в него, кроме, разумеется, тех, кому он честно платил. Впрочем, обыкновенно он улыбался приятно и скромно, однако весёлой иронии скрывать никогда не умел, говорил негромко, но твёрдо, и этот неуступчивый проницательный взгляд, и все чувства всегда на лице.

Какой со всем этим богатством мог быть у крикливого пола успех?

И, махнув рукой, он отправился ближними улицами и явился, как являлся обыкновенно, в театр, лишь в последний момент испугался чего-то войти в абонированный им бенуар, купил в кассе билет, раскланялся добродушно, однако неприветно и сдавленно, сел в своё кресло, взглянул рассеянно на сцену и ближние ложи и вновь погрузился в себя, почти больше не глядя, что там валялись актёры, не слыша ни слова, ничего не замечая вокруг.

Его лихорадило от пережитых волнений и от стыда за себя, что он здесь сидел, а там Васька кончался, должно быть, и больше всего оттого, что дней через десять предстояло ему, если решится внять благоразумному наставленью Каверина, но трезвых мыслей в растревоженной голове обреталось слишком немного.

Самая горькая, самая простая и ясная была та, что он погубил свою жизнь навсегда, погубил её очень давно, ещё до этой злосчастной дуэли, и погубил её ни за грош, сомневаться было нельзя.

Несколько раз он поднимал тяжёлую голову, рассеянно и близоруко оглядывал шумную сцену, где кого-то сбирались да никак не могли оженить, хотя это дело, известно, нехитро, глухо ловил два-три не совсем разборчивых слова и ответный одобрительный смех то кресел, то лож, то райка и вновь погружался в сомнения.

Ну, положим, открестится он, убедивши себя, что бесчестно быть в подобных обстоятельствах честным с властями и что ум, хотя бы самый глубокий и ясный, без трезвости мысли ничто, это немудрено, как жениться, так что ж из того? Его жизнь не станет порядочней и дельнее, и вина перед Васькой всё одно очевидна до слёз, и он должен переменить всю свою жизнь и быть необходимо наказан за эту слепую вину.

Лишь на эти условия он и был безусловно согласен.

Вот только каким таким образом переменить ему жизнь и кто и чем накажет его?

Тут же другой, опять важный вопрос представлялся ему: погубил ли он себя у строгой матушки под крылом, или в университетские годы, стремясь учением докторский чин получить, или в полку, когда в бальные залы вламывался верхом на коне, или в польском костёле, во время чинной обедни, из одного озорства наигрывал на органе камаринского, или углём выгорев от несчастной любви, или необдуманно выйдя в отставку, должно быть, чутьём угадав, что служба из чести, которую нёс он у Андрея Семёныча в кавалерийских резервах, сделалась вдруг невозможна?

А по сцене гуляла какая-то барынька, сильно кривлялась, изображая, должно быть, неодолимую страсть к изящной российской словесности, вспыхнувшую, как водится, совершенно внезапно, ни с того ни с сего, по воле водевилиста, в том неотвратимо убывающем возрасте, когда самое время полюбить бы, чего не успела, или подумать о погрязшей в пороке душе.

Боже мой, что там за дичь?

Поневоле он всегда помнил ту лихую дружину, в которой четыре месяца побыл и после которой какой год не в своей колее, а глупая, сильно и нарочно картавая, прижимая ладони к

чрезвычайно пышной груди, трясогузка, захлёбывалась чем-то знакомым, что как будто ему приходилось где-то недавно читать:

– Он человек знатный, важной фамилии, а уж учён-то, учён... Подлинно, уж надобно удивляться!.. Чего он не знает!.. По-немецки, по-гречески, кажется, и по-латыни, а о французском нечего и говорить... и всеми этими языками он говорит лучше, чем даже по-русски!..

Вопрос, впрочем, в том, какая могла бы открыться перед ним колея, которую он по нраву и вкусу назвал бы своей, а глупая барыня, конечно, бранилась. Он прищурился и со вниманием поглядел: перчатки на ней были грязные, верно, именно для того, чтобы недогадливой публике предстала очевидней карикатура, которая, то есть публика, чёрт побери, у нас по сей день склонна за чистую монету принять всякое печатное или с подмостков изречённое слово, доверчивость детства, наивность необразованности, вялость ума да невинность души.

И на кой чёрт нашей публике, если сообразить эти свойства, красоты поэзии? Читала бы благоразумно газеты!

Благоразумно?

И в той же монете благоразумно перед судом офицеров солгать?

Вдобавок ещё одно странное дело: пожалуй, у одних только нас во всём свете пускаются карикатурить неприятеля своего за учёность, учёность у нас не в чести.

Та ли участь и слава театра?

Полно, вовсе не та! Пристало театру своим рукотворным бичом хлестать за невежество, за благоразумие, которое, не имея довольно ума и благородства души, ведёт к низкопоклонству и подлости, и тоже за ум и благородство души, которые, не заведя трезвости мысли, порядочного человека превращают в посмешище.

Нет, упаси Господи затесаться в посмешище. Чего хуже, как обратиться в героя комедии!

Да и комедии нынче упали, вместо благоразумной сатиры ударились в низкую пошлость.

Однако ж было славное время, когда бичом сатиры владел, впрочем, несколько неуклюже, топорно, остроумный Фонвизин, да, выходит, что славное время бесследно прошло.

Да и как не пройти? Кабы возможность была массу сведений наших литераторов, академиков, профессоров, студийцев разделить поровну нашим талантам, навряд бы на каждый постольку пришлось, чему учит великолепный Ланкастер: читать и писать, да и то через пень-колоду, по складам и пыхтя.

Вовсе не диво, что у кого-то из них на учёность наострилось перо.

На сей раз у кого?

А ловок-то, ловок, подлец, и, должно быть, ужасный нахал. Истинной просвещённости у нас ни в ком почти не видать. В этом, стало быть, в греческом, и прямой адресат. Кто ж у нас нынче смекает по-гречески? Разве из Тургеневых хромой Николай⁴¹? Чаадаев? Да оба сторонятся участвовать в пиитических дрызгах.

Из любопытства послушал он повнимательней крикливую барыню, выходившую из себя:

– А наука-то что ль? Литературу, словесность, поэзию, стихотворство... Психологию, хронологию, географию, землеописание...

Подумаешь, как остроумно прибегать к тавтологии! Однако кругом отменно хохочут вовсю! Что за дурак? Однако ж не Тургенев, не хромой Николай, тот пописывал в прошедшие времена слезливо, туманно, в духе пленительного Жуковского, а нынче вовсе не пишет стихов. Пётр Яковлевич⁴² тоже не пишет, философ. Кто же нынче пишет стихи и к тому же так славно учен?

– Эстетику, статистику...

⁴¹ ...из *Тургеневых хромой Николай?* – Тургенев Николай Иванович (1789-1871) – государственный деятель, литератор, историк, декабрист.

⁴² *Пётр Яковлевич* – Чаадаев (см. выше).

Глупая барыня что-то ещё декламировала в том же изумительном роде, расширив безумно глаза, точно сама мысль об учёности её сводила с ума, тогда как он восстанавливал в памяти, где он слышал ту же дичь, недавно, чуть не на днях, и кому далась такая бездна наук, разнообразных и важных, ведь явным образом творец пошлости метил препакостно в личность.

Он замечал в своей памяти твёрдость и гибкость и мало в том сомневался, что решительно все подробности припомнил бы тотчас, не пребывая в ином месте его растревоженный разум, отыскивавший бесплодно пути, как бы себя самого наказать по заслугам и одним разом переменить всю эту бездельную пошлую жизнь, в которой одни дурачества следовали утомительной чередой. В отсутствии разума любые усилия были напрасны: его память словно затащило зыбучим песком.

Нечего делать, Александр принагнулся к соседу и раздельно негромко спросил:

– Прошу прощения, что нынче за пьеса?

Молодой человек, ушами потонувший в превысоком жабо, какими щеголяли повесы лет десять назад, небрежно ответил сквозь кружева, точно в погребке жил:

– «Вечеринка учёных».

Видать, пресерьёзно на вещи глядел, заседатель партера, он чуть кивнул:

– Покорно благодарю.

Отворотился, однако же названье ничего не сообщило уму, себя обругал, вновь, пригнувшись слегка, негромко спросил:

– Имени сочинителя не изволите знать?

Молодой человек впивал каждое слово, пущенное со сцены как тупая стрела, поскольку цели не ведал никто, но также готов был завязать разговор:

– Сочинитель Загоскин⁴³, однако, простите, лично я с ним не знаком, вы не изволите знать?

Он холодно оборвал:

– Никак нет.

И, неправду сказав, тотчас явственно припомнил один фельетон, во мрак наших журналов тиснутый нынешним летом, как будто в июле, впрочем, чёрт с ним, пусть в сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре, в декабре для пакостей даже сподручней, то-то любят декабрь дураки, метель да мороз.

Фельетон пространно живописал вечер у графа Шишкова⁴⁴, ревнителя старины, адмирала и чудака, у которого запросто бывал иногда, с любопытством слушая восторги о прелести славянизмов, а на вечерах бесился от скуки, сколько хозяин ни милый был человек. Похоже, его выходки, о которых он через час забывал, в фельетоне передавались чуть не дословно. Сперва был набросан язвительно-лёгкий портрет:

«Один молодой человек, одарённый непостижимой гибкостью языка, успел наконец обратить на себя общее внимание: он вертелся направо и налево, спрашивал, отвечал, доказывал, раздроблял, спорил со всеми, загонял всех и в несколько минут очистил совершенно поле сражения. Самые упрямые спорщики должны были с ним согласиться, самые неутомимые болтуны принуждены были молчать...»

Он должен был согласиться, что филиппика была вставлена метко. В самом деле, его праздный ум, наскуча бездельем, рассерженный пустозвонством мудрости, похищенной у Лагарпа, а пуще у «Сына отечества»⁴⁵, порой извергал поток ядовитых острот и сарказмов,

⁴³ *Загоскин* Михаил Николаевич (1789-1852) – писатель, автор исторических романов. Был близок к писателям «Беседы любителей русского слова».

⁴⁴ *...вечер у графа Шишкова...* – Шишков Александр Васильевич (1754 – 1841) – русский писатель, адмирал. Глава литературного общества «Беседа любителей русского слова».

⁴⁵ «Сын отечества» – исторический, политический и литературный журнал в Петербурге, основанный в 1812 г. Н. И.

принуждая собеседников умолкнуть, точно вихрь налетал, однако победы этого рода нисколько не льстили громадному его самолюбию, может быть, оттого, что ничего не стоит победа над тем, кого не стоит труда победить.

«...Сначала перебрал он поодиночке всех древних поэтов: одних хвалил, других осуждал...», что многие, разумеется, находили кощунственным, поскольку всякая древность в представлении плоских умов исключалась из критики, «...никто не смел ему противоречить...». И кто бы сумел? Да и кто бы посмел? «...Он знает по-гречески и по-латыни», – шептали мне соседи, а как можно спорить с человеком, который читал в подлиннике Омера и находит неправильные стихи в Горации и Ювенале...»

Боже мой, на каком ярился он форуме, перед какими квиритами метал так старательно бисер? В самом деле, не истинный ли признак ума – заранее знать, перед кем говоришь, и молчать, когда слушатель твой туп и зол, как свинья?

А фельетонист, скромно забившийся в уголок, благоразумно про себя хранящий свою неучённость, ещё опустил его любимца Вергилия, которого он поставил себе в образец, об чём всякий знал, кто был близок к нему, свидетельство очевидное, что страж невежества не входил в круг его близких приятелей и, по счастью, о любимцах его ничего не успел разузнать, как не успел разузнать и об том, что он усовершенствовал себя в греческом языке, учась всякий день от двенадцати до четырёх, с ума сходя от наречия Аристофана и Фукидида, вдобавок находя его вовсе не трудным, уж за эти штудии бы всякий дурак уцепился, непременно отыскав тут грех самомнения, если не какой-нибудь худший грех, поскольку в чести у истинно русского человека лишь те, которые ничему не учились, а так, всё сущее собственным диким умом превзошли.

И это умы, среди которых он жил, исключая двух-трёх истинно просвещённых друзей. Что мудреного, если, взъярённый скукой безбренной, он в тот вечер пустился от древних к новейшим писателям, побранил немцев и англичан за туманные вирши, уязвил несколько трескучего Тасса, из всех итальянцев выделивши одного великого Данта, добрался наконец до французов, приведя фельетониста в смятение:

«О! тут началась кровавая сеча: двадцатилетний цензор не щадил ни пола, ни возраста...»

Прозрачный намёк, что фельетонист метил в него: к удивлению многих, он числился двадцатилетним, как матушка своей волей занесла ему в формуляр, имея веские основания на то, да Бог с ним, с формуляром, любопытно припомнить, что там о французах порол. Кажется, фельетонист издевался приблизительно так:

«Г-жа Дезульер лучше бы сделала, если бы вместо стихов писала узоры; г-жа Савинье не должна была печатать своих писем, а Жанлис сочинять своих сказок и романов; французская литература одна из самых беднейших; лучшие из писателей – жалкие школьники в сравнении с древними. Я слушал и восхищался. Этот молодой человек истинный патриот, думал я, он мстит французам за то, что они некогда были врагами нашими, унижает их писателей, верно, для того, чтобы возвысить таланты своих соотечественников. О! надобно иметь сильную любовь к отечеству, чтобы пуститься на такой великий подвиг...»

Плюнул, куда зазорно плевать, и остался доволен своим остроумием. Ай, что за мелкость души у наших пиратов пера! Истина нисколько не тревожит их плоский ум. С пеной у рта они бранят тех, кто имеет честь с ними не соглашаться и не напрашивается им на знакомство.

«Не все были одинакового со мною мнения...» Очень приятно, хотя, должно быть, и прочие мало удалились от суждений «Сына отечества». «Осуждать французских писателей! Боже мой! Да это уголовное преступление, такая неслыханная дерзость, от которой самый смиренный человек должен потерять терпение. Один из слушателей, не в силах будучи скрывать долее

своего негодования, вступился за бедных французов...» Помилуйте, кто бы мог быть столь отчаянным смельчаком? Уж не сам ли счастливый фельетонист, заподозривший страсть хулить иноземных писателей не из глубокого убеждения, не из верного чувства изящного, а лишь по низким причинам национальной кичливости? Экая память, однако... Так что там ещё у него? Ах да! «Пощадите! – закричал он. – Можно ли говорить с таким презрением об учителях наших...», точно, французы первейшие учителя у нас слишком многих, однако ж не всех, да этого казуса мелким умом невозможно понять, коли общество в один голос превозносит легковесных, но модных писак, «...о писателях, которые служат нам образцами?...». Давно пора не служить! Мы довольно, кажется, самобытны, чтобы чужой меркой не мерить себя и в чужой не рядиться наряд!

Тут оппонент его окончательно выскочил из себя, и они раскричались на славу:

– Сыщите мне, например, другого где-нибудь Лафонтена?

– Лафонтена? Да что бы он был без Эзопа, без Фёдра? Лафонтен обязан всем своим содержанием древним.

– Буало...

– Буало не был никогда поэтом истинным. Он отделял стихи свои как художник, вымеривал циркулем, писал по масштабу. Он так холодно-правилен...

– Если вы хотите более пиитического огня, читайте Делиля.

– Делиля? Этого сентиментального плаксу, сладкого пастушка, который описывал поля и леса, сидя в своём кабинете, и ходил любоваться «великолепной» природой в Пале-Рояль? Нет, я не в состоянии выносить восторгов его заказных, звукоподражательных его стихов, которые ничему не подражают, и охотно отдал бы все пастушеские и метафизические поэмы Делиля за один стих из Вергилия.

– Желая знать, что вы скажете о Расине?

– Что он не написал ни одной истинной трагедии.

– Как! А «Гофолия», «Ифигения», «Фёдра»?

– Прежалкие попытки! Что такое Расинов Ахиллес? Французский петиметр, «храбрец», который беспрестанно говорит и делает гасконады. Береника – сентиментальная французенка двора Людовика Великого. Фёдра – кокетка. Как удивились бы греки, если бы увидели, во что их превратил Расин! Эти греческие трагедии показались бы им пародиями – и греки были бы правы.

– Поэтому Корнель...

– Он был бы лучше, но что за стихи!

– Следственно, Вольтер вам нравится более?

– Вольтер? Боже мой! Могут ли нравиться трагедии, в которых Магомет философствует, бредит метафизикой, как Дидерот, а турецкий султан рассуждает о любви, как страстные любовники в романах мадам Скюдери⁴⁶?

– Я надеюсь, то Мольер...

– Он старался подражать Плавту, но как далеко оставил его позади себя Аристофан⁴⁷!

– Помилуйте, Лагарп говорит⁴⁸...

– Лагарп говорит! Прекрасное доказательство! Да что такое Лагарп? Кто сделал его законодателем вкуса? Человек, который на каждом шагу делает самые грубые ошибки, которого суждения наполнены пристрастием, которого бесконечный «курс литературы» заключает в себе гораздо менее полезного, чем один лист в Логиновом трактате о превосходном. И этого

⁴⁶ ...любовники в романах мадам Скюдери? – Скюдери Мадлена де (1607-1701) – французская писательница, автор любовных романов.

⁴⁷ Аристофан (ок. 445 – ок. 385 до н. э.) – древнегреческий поэт-комедиограф.

⁴⁸ Лагарп говорит... – Жан Франсуа де Лагарп (1739-1803) – французский драматург и теоретик литературы.

человека вы хотите сделать моим судьёй? О, нет! Позвольте мне, не справляясь с Лагарпом, отдавать справедливость древним и не равнять с ними писателей нашего времени!

На этом воззвании к здравому смыслу баталия приутихла, о чём озадаченный фельетонист очень кратко поведал: «Защитник французов замолчал».

И кстати, молчать защитнику глупого подражания было приличней, мог бы и вовсе хранить гробовое молчание, по пословице, за умного бы сошёл, а так видно, что пошлый дурак, шагу своим умом не ступить.

Однако фельетонист продолжал:

«Я думал, что молодой литератор сделает то же, но ошибся...», в самом деле, он подолгу молчал, но в задоре и в гневе, коль кровь заиграла, однажды заговорив, подолгу остановиться не мог, сам себя изумляя раздражительным своим красноречием, это истинный грех, в котором покаяться хоть публично не прочь, «...поговоря ещё несколько минут об иностранных писателях, он обратился к отечественной словесности. Я удвоил внимание. «Наконец этот страшный Аристарх смягчился и будет хвалить. Как может русский говорить без восторга о Ломоносове и Державине, и «Душеньке» Богдановича, и баснях Хемницера», – думал я, подвигаясь ближе, – и как обманулся! Бедные соотечественники! если бы вы слышали жестокий приговор этого отрока-мудреца...».

Перед ним возвеличивали Хераскова, Княжнина⁴⁹ и Кострова, которые, на вкус его, не имели никакого таланта. Его пытались сразить Ломоносовым, оды которого представлялись ему лирической галиматьёй, уродливым подражаньем Пиндару.

– А вы, находящиеся ещё в живых, вы, которых мы по невежеству своему считали до сих пор частью нашей словесности, пленительный Дмитриев, неподражаемый Крылов, весёлый Давыдов, милый Батюшков, остроумный Шаховской, Гнедич, любимец греческих муз?

– Скука и холод, без дарований и без души.

– Наконец ты, избалованное дитя Аполлона, чувствительный, пламенный Жуковский?

– Не написал во всю жизнь ни одного живого стиха.

Несчастный фельетонист вновь возвысил свой негодующий голос, немилосердно коверкая французский язык: что за нелепая страсть! Не давши выговорить скомороху двух слов, он начал читать наизусть дурные стихи из поэтов, которых только что от души порицал.

Фельетонист вышел наконец из себя, что было слышно даже в его фельетоне:

«Сколько я ни кричал, что несколько дурных стихов ничего не значат, что во всяком сочинении найти их можно, – никто не хотел меня слушать: большая часть гостей взяла сторону моего противника, и я должен был замолчать поневоле...» А, так вот чем обязаны мы бранчивому фельетону! «...Разговор переменялся: стали говорить о художествах, молодой литератор пустился судить о скульптуре, живописи и архитектуре с такой же благородною смелостью, с какою говорил о словесности. «Боже мой! – сказал я, севши в одном уголку подальше от прочих гостей. – Боже мой! Как бы было хорошо, если б этот молодой человек не знал чего-нибудь...»

Автор плоского фельетона, если правду сказать, был человеком несколько деликатным, маскируя подлинные имена современников, о которых он частенько отзывался столь резко, под одними начальными буквами, чтобы эта глупая выходка на страницах журнала не совсем похожа была на донос и чтобы им обоим не наделать кучу врагов, которых у него довольно случилось и без того, однако подлинные имена легко узнавались, как он их тоже тотчас узнал, и он не страшился в бой вступить хоть со всеми.

Искусство обязано быть самобытным, или оно не искусство!

И при этом ни одного посредственного стиха!

⁴⁹ *Княжнин* Яков Борисович (1742(40?)–1791) – русский драматург, поэт, представитель классицизма.

Кто прощает подражательность и дурные стихи, случайно мелькнувшие пусть и у самых великих, во всём прочем вполне безупречных поэтов, тот сам далеко не пойдёт.

Искусство обязано быть величавым.

Вот только стоит ли вступать в бой с толпой подражателей да авторов корявых стихов?

Ах, бедный рассудком и благородством, несчастный фельетонист! Эта снисходительность к недостаткам твоих малых кумиров дорого тебе обойдётся, в самой твоей снисходительности таится самое горькое твоё наказание!

Тот вечер, не без зубоскальства живописанный в фельетоне, припомнился ему со всей ясностью. Кажется, оттого он и злобствовал так, что ему стало несколько жаль молодого комедианта, таким жалким образом оскоплавшего свою несмелую мысль, которой всё-таки не был вовсе лишён, а причина одна, что толком ничему не учился и об том Бога молил, чтобы прочие знали поменьше.

Где-то Загоскин теперь? Верно, присел где-нибудь в уголке и доволен весьма, что вставил в пустую комедию несколько шпилек и, прежде не справясь в споре с открытым забралом, нынче тайком одолел, должно быть, твёрдо надеясь, что останется на этот раз без ответа.

Впрочем, помнится, в фельетоне стояло нечто, близко к концу, обличавшее в авторе добрую душу:

«Хозяин, который не принимал почти никакого участия в разговоре, подошёл ко мне. «Ну, мой милый, – спросил он, – что вы думаете об этом молодом человеке?» – «Право, не знаю, я не успел ещё опомниться». – «Не правда ли, он очень много знает?» – «О, слишком много!» – «Нельзя быть умнее...» – «Но можно, кажется, быть скромнее и не позволять себе бранить то, что целый свет почитает». – «О, этот молодой человек имеет право судить о писателях: он сам сочиняет и отдаёт в печать». – «Тем хуже, сударь, тем хуже. Если б он находил в себе самом те же недостатки, которые видит в других, то не стал бы печатать своих произведений, а так как он осуждает и сочиняет сам, то, вероятно, думает, что он один пишет хорошо...» Экий шельмец! Вот отличный, славный удар! На такой удар не ответить ничем! В самом деле, видел ли он недостатки в двух-трёх водевилях, которые без труда набросал, впрочем, не волей своей, а просьбой других? Что говорить, на вкус его, они были дрянь. Разве пахнет талантом от вздоров? Почто же печатал, почто позволял актёрам и актёркам играть? Вот поди ж! Который год не в своей колее! Ум с сердцем, видать, не в ладу! «...Согласитесь сами, такое самолюбие несносно». – «Может статься, вы правы. Но, впрочем, как бы то ни было, а у него такие таланты, такие дарования! О чём с ним ни заговори, он всё знает, верно, лучше того, с кем говорит. О, он преучёный и преумный молодой человек!»

Фельетон, как он видел теперь, полный самых лестных похвал, между тем при первом чтении его сильно задел. В кругу друзей он бывал снисходителен и отходчив, и если сердился и позволял себе резкое слово, то сердился чаще в таких случаях на себя самого, однако ж, встречая людей, понятия которых в глазах его были вредны или смешны, он становился вдруг раздражителен, заносчив и вспылчив, как порох, служба, как он себя уверял, просвещению истинному, подражая невольню любимцу Вольтеру, который во всю жизнь не спускал никому и который, не пиши он трагедий, по тщеславию или по слабости вкуса, был бы так же велик, как бывали великими древние.

Придравшись к только что Загоскиным поставленной комедии «Богатонов, или Провинциал в столице», призвав себе в помощь Катенина⁵⁰, который сам подражать любил и по этой причине не мог ему отказать, однако, спешно собираясь выступить с гвардией, едва находил для совместной баталии время, в своей комедийке лёгкой «Студент» довольно резко шаржировал

⁵⁰ ...призвав себе в помощь Катенина... – Катенин Павел Александрович (1792-1853) – поэт, переводчик, критик. Член «Союза спасения». Вместе с Грибоедовым автор комедии «Студент» (1817).

глупый сюжет, а в лице Ювенала Беневоляского представил незваного фельетониста, между делом забавляясь сатирой на нелюбезное ему петербургское низкопоклонное общество.

Беневоляский, его волей, мечтал, являсь в Петербург из тмутараканской Казани, как сам Загоскин пришествовал из невообразимого города Пензы:

«Здесь увижу я блестящие собрания, где вкус дружится с роскошью, в них найду женщин милых, любительниц талантов, какую-нибудь Нинону, Севинье, им стану посвящать стишки маленькие, лёгкие, их окружают вертопрахи, модники – я их устрошу сатирами, они станут уважать меня, тут же встретятся мне авторы, стихотворцы, которые уже стяжали себе громкую славу, признаны бессмертными в двадцати, в тридцати из лучших домов, я к ним буду писать послания, они ко мне, мы будем хвалить друг друга. О, бесподобно! Звездов ездит во дворец, – он будет моим меценатом, мне дают пенсию, как всем подобным мне талантам, я наживусь, разбогатею. Федька! Федька, поди сюда, обойми меня...»

Беневоляский заносился в самолюбии самом несносном:

«Ха! Ха! Ха! Какой сюжет для комедии богатый! Как они смешны. Тот статский советник, в порядочных людях, а не читал ни «Сына отечества», ни «Музеума», но, по крайней мере, видно, что ему это совестно, больно: он мне после угождал взорами, речью, нарочно, чтоб изгадить дурное впечатление, которое надо мной сделало его невежество. А этот гусар, об котором Вергилий говорит: «Варвар эти нивы...» – ещё храбрится своею глупостью. Однако он мне дал мысль: ступайте к нам в полк... Нет, не в их полк, а в военную: отчего мне не быть военным? О! ремесло Цезаря! сына Филиппова! Быть вождём полмиллиона героев! Самому воспевать свои победы! воин-поэт! Но быть министром! тоже значительно, завидно. Ну, что ж? разве нельзя всё это сдружить вместе? Так, я буду законодателем-полководцем и стихотворцем, и вы меня одобрите, существа кротости!.. Существа очаровательные! всё в жертву вам!.. Но Боже мой! как здесь долго таятся в неге! Я так давно снедаем ожиданием. А! если б теперь мог увидеть ту, которая давно живёт здесь в моём сердце, знакомую незнакомку, которая часто появлялась мне в сновидениях, светла, как Ора, легка, как Ириса, – величественный стан, сапфирные глаза, русые, льну подобные, волосы, черты... Кто-то идёт – две женщины!.. Сердце, ты вещун! – это она с субреткою... Мой идеал!.. Она!..»

Беневоляский, ничего общего не открыв между своей книжной наивностью и грубой истиной жизни, оскорблялся и проклинал, подобно всем потерянными провинциалам в столице: «Презрение буйным чадам Арея! бесчувственные враги изящного! – Федька! стань сюда! На каждой черте лица твоего дикая природа наложила печать свою, но ты имеешь душу!.. И не обделана душа твоя резцом образованности, и закоснела она в коре невежества, но ты имеешь душу!..»

Беневоляский читал свои мерзкие вирши слуге, так и тот засыпал, немудрено, что сражённый им Беневоляский проклинал белый свет вместе с Федькой:

«И это я написал! это излилось из моего пера! Федька!.. Он спит, жалкий человек! вместилище физических потребностей!.. И все люди почти таковы, с кем я ни встречался здесь в столице, ни один не чувствует этого стремленья, этого позыва души – туда! к чему-то высшему, неизвестному! Но тем лучше: как велик между ими всеми тот один, кто, как я, вознёсся ввысь из среды обыденности! Рука фортуны отяготела надо мною, я проиграл мои деньги, – но дары фантазии всегда при мне, они всё поправят. Вельможи, цари будут внимать строю моей лиры, и золото и почести рекою польются на певца. Но я ими не дорожу, и доволен одною славою, уделом великим...» Беневоляский растерянно зывал под конец:

«Мечты моей юности! мечты, сопровождавшие меня из Казани сюда! сопутницы неизменные! куда вы исчезли, заманчивые?..»

Извольте любоваться, какие жалкие стрелы носил он в своём колчане, на какие забавы растрчивал походя свои дарования! Одно хорошо: этот шут на него самого вышел ужасно

похож, чуть не те же мечты о фортуне и славе, нелепость одна! Почто ж было на другого кивать, выводить другого в шуты, когда шут и сам?

Подделом: Загоскиным, узнавшим себя в шутовском колпаке, тотчас освистаны были «Молодые супруги»⁵¹.

Впрочем, справедливость всюду надобно отдавать: Загоскин нашёл перевод лучшим оригинала французского, отметил ещё, что действие развивается быстро, и не решился назвать ни одной сцены ненужной или холодной, имел, стало быть, сценический глаз, мог бы продвигаться далеко на театре, кабы посерьёзней взглянул на своё дарование.

Оно хорошо, однако такого рода достоинства обязаны лежать в основании всякой сносной комедийки, за что же хвалить? Однако злодей отыскал-таки несколько неловких и даже глупых стишков и вдоволь насмеялся над ними, шут, а бессомнительно прав.

Стишки в самом деле на поверку оказались неловки и глупы, и от этого досада его была велика. Он собрался было молчать, не почитая достойным ввязываться в смешные журнальные дразги, в которых наша молодая литература главным образом и заявляла себя, не имея времени и ума на иные шедевры, да обида оказалась сильнее благоразумия, чего от себя он не ждал. Ретивое в нём закипело, чуть ли не так, как в Беневольском его. Ну, нет, он не потерпит, чтобы об нём жужжал дурачества какой-то глупец!

Тотчас бросил он на бумагу фассесию, как он выражался, и пустил её по рукам. Стихи его полетели на крыльях стоустой молвы.

Должно быть, Загоскин вновь учуял свой, на этот раз уже вовсе карикатурный, портрет и нынче пускал в него свои тупые и ржавые стрелы со сцены.

Он прислушался: там болтали о прелестях сочинений Честнова, и он уже знал, кто этот ловкий Честнов и почему так старательно того обеляли в невежестве:

– Чтобы доказать это, надобно сделать выписку, найти дурное.

– И вы, без сомнения, нашли.

– И да, и нет: в первом томе, на одном месте, вместо предлога поставлен союз.

– Хорошо, вы намекаете, что Честнов худо учился синтаксису.

– Точно так. В третьем томе я заметил лишнюю запятую и... и двоеточие не на своём месте...

– Прекрасно! Прекрасно! вы можете сказать, что автор не знает правописания.

– Конечно, и хотя очень заметно, что это типографские ошибки...

– Какая вам до этого нужда! Разве вы обязаны отгадывать, кто ошибся, наборщик или сочинитель?

Публика дружно смеялась, в особенности в райке, поднимая ужасный грохот ладонями, точно из меди.

Усмехнувшись этим шпилькам топорным, Александр какое-то время сидел, погруженный в себя, вспоминая, сколько трудов положил на всю эту эстетику с географией и статистику с хронологией и описанием земли, и вдруг услышал, как развязно болтали на сцене:

– А знаешь ли ты, что он сватается за Сонюшку?

– Тем хуже для него.

– А почему бы так, батюшка братец?

– А потому, матушка сестрица, что у Софьи есть и без того жених.

Он задохнулся. Как шут Загоскин посмел? Имя Софьи укроет ли для посвящённых имя несчастного? Людским подлостям есть ли предел? Вон отсюда, скорей! Сил его нет терпеть эту мерзкую попытку!

⁵¹ «Молодые супруги» – перевод Грибоедовым пьесы французского писателя Крезе де Лессера (поставлена на сцене в 1815 г.).

Он поднялся, не дожидаясь конца канители, и вышел вон по ногам, не обращая внимания на приглушённые ругательства в спину.

Боже мой, там, в Москве, венчание, должно быть, уже совершилось, а здесь, в Петербурге, хохочут над ним!

Было холодно и темно. Резкий северный ветер бил прямо в лицо, пылавшее краской негодованья. Дневная слякоть стусилась корой и мелкими кочками отдавалась в тонких подошвах. Склонившись вперёд, прикрывши ладонью лицо, он порывисто перешёл на ту сторону, где менее дуло, и завернулся в плащ поплотней, однако не сделал он и полусотни шагов, себя сердито браня, что не в силах был позабыть коварства измены, а заодно и за то, что сдуру ввязался в дурную полемику. Всё это молодость, все книжные мысли, мечты. Кто верит женщине, оставив её хотя бы на час? Кто верит, будто в журнальной полемике разливается первый свет просвещения? Пусть эти, чувствительные, сентиментальные, певцы ручейков, попадают впросак. Ему ли склоняться пред теми же слезливыми божествами? Уже в другой раз быть так неловко и публично обруган!

Он решил больше не отвечать, никогда, никому, но не в силах был удержать своей злости, перед собой угрюмо глядел, различая одну темноту, не приметив, как догнал его невысокий худой человек с обезьяньим желтоватым лицом и с тяжёлой тростью в правой руке.

Он искоса глянул, наконец слыша шаги: широкий боливар на светлых кудрях, с такими полями, что в нужде заменили бы зонт от дождя, опускался до самого носа – тотчас вольнодумца по наряду видать.

И охота же вольнодумствовать боливарами!

Он отворотился, пропуская вперёд, однако счастливый владелец широкого боливара, поклонившись ему, со смехом сказал:

– Я увидел, как вы поднялись, и выбежал следом за вами.

Он вежливо проворчал:

– Теряюсь, чем я обязан.

И услышал быстрый ответ:

– Ахинея несносная мне надоела.

И с лёгкой насмешкой спросил:

– Из этого следует, что я должен быть ей благодарен, в противном случае певец своей печали своим вниманием меня бы не почтил.

Пушкин, задрав голову, рискуя потерять боливар, звонко захохотал:

– Это из вашей последней комедии стих?

Он тотчас парировал:

– Кажется, из неё, я не припомню, однако ж верней, что из ваших последних стихов.

И Пушкин миролюбиво признал, всё смеясь:

– Я тотчас узнал, что вы стрельнули в меня.

Он не настроен был веселиться и довольно небрежно сказал:

– Счастлив, что доставил удовольствие вам посмеяться.

Пушкин, казалось, не обращал на эту небрежность никакого внимания и говорил искренне, скоро, легко:

– Я нахожу, что вы правы. В самом деле, довольно смешно в мои лета петь свою печаль, которой у меня нет, свирели звук унылый и тихий взор, исполненный тоской.

Он насмешливо поклонился:

– Счастлив вдвойне.

– Нынче мне по сердцу песни иные.

– Это те, где вы бросаете взор⁵² и видите всюду бичи, везде железы, законов гибельный позор, неволи немощные слёзы, что в таком виде поставлено только для рифмы, весьма неудачной, везде несправедная Власть в сгущённой тьме предрассуждений восседала, Рабства грозный Гений и Славы роковая страсть? Как же, пришлось прочесть, ваши стихи у всех на руках.

На иронию Пушкин ответил со смехом иронией:

– Как и ваш «Лубочный театр»⁵³.

– Я поразил моим «Театром» глупцов.

– Я вижу, мои новые песни вам не по вкусу.

Он отвернул воротник и слишком громко сказал, искоса глядя на него сверху вниз:

– В ваших песнях нахожу я силу и смысл, да много ли проку, подумайте, в том, чтобы стихами поражать Законы и Власть, тем более что они стихов не читают?

Пушкин с удивлением поглядел на него:

– Нами правит тиран, что же странного в том, что я ненавижу тиранов?

– Вы правы, ничего в этом странного нет.

– Это скорей парадокс, чем здравая мысль, продолжайте.

– Извольте! Вы восклицаете где-то: «Самовластительный Злодей!», с заглавной буквы, иначе нельзя. Что ж, мысль верная, стихи отличные, и далее в том же возвышенном роде, когда возглашаете, что Злодея вы ненавидите, с радостью жестокой видите его смерть и смерть его детей, читаете на его челе вместе с народами печать проклятия, величаете его ужасом мира, стыдом природы и даже упреком Богу на земле, всё это звучными рифмами, однако, юный мой друг, как вы в своём красноречии не слышите пустой декламации, которая именно вам не пристала?

Пушкин воскликнул, скидывая трость, как рапиру:

– Разве Поэт не обязан призывать топор палача на шею Тирана?

– Согласен, да кто же Палач? Верное чутьё истины вам подсказало, что охотников в палачи нынче нет, и вы принуждены были возгласить под конец, что верной оградой царям не составляют ни наказания, ни награды, ни темницы, ни алтари, и, вновь размахивая топором палача, в существование которого сами не изволите верить, призываете самовластительных Злодеев добровольно склониться главой под сень надёжную Закона, и станут вечной стражей трона народов вольность и покой. Что за охота вам обольщаться? Где вы видели такого рода Злодеев? Перед вами просторы всемирной истории. Вглядитесь внимательно в анналы её. Дают ли они нам такого рода примеры самоограничения?

– Но разве мы не находим во всемирной истории великих правителей, истинных благодетелей человечества?

Он улыбнулся и ответил вопросом:

– Разве это были злодеи, укрывшиеся под сенью Закона?

– Вижу, что тоска и ненависть у вас под запретом, оставляете ли вы Поэту хотя бы любовь?

– Поэт сам избирает свой путь.

Пушкин сбоку пристально взглянул на него:

– Разве не публика образует таланты?

– О, любопытно послушать, свежая мысль!

– Таланты драматические прежде всего, чему мы только что были с вами свидетелями.

Публика смеялась, не правда ли, однако ж чему?

– Понимаю: публика легкомысленна, однако из каких высоких материй ей угождать?

– Значительная часть наших кресел слишком занята судьбою Отечества и Европы.

⁵² *Это те, где вы бросаете взор...* – Здесь и далее Грибоедов разбирает оду «Вольность» (1817) А. С. Пушкина.

⁵³ *«Лубочный театр»* (1815) – памфлет Грибоедова в ответ на критику М. Н. Загоскиным его пьесы «Молодые супруги».

Он с улыбкой оборотился к странному своему собеседнику:

– Милый Пушкин, судьбы Европы, в особенности судьбы Отечества куда занимательней, чем судьбы всех, вместе взятых, тиранов, тем более водевили незадачливых драматургов, однако нашу публику эти судьбы нисколько не занимают, поверьте.

– Наша публика слишком утомлена своими трудами.

– Не хотите ли вы этим сказать, что идеальная публика должна состоять из бездельников, как это было во Франции эпохи беспечных Людовиков? Если правду сказать, театр Шекспира был полон ремесленников и мореходов. Как, по-вашему, сии труженики бывали утомлены? Волновала ли судьба человечества, занимали судьбы Британии, печалили судьбы Европы? Но какая это была благодатная публика! Не худо бы пожелать и нам с вами такой!

Пушкин сделался очень серьёзен, хмурился, вертел головой, но твёрдо стоял на своём:

– Наша публика слишком глубокомысленна, слишком ваяема.

Он от души рассмеялся:

– Помилуйте, вы хотели бы видеть в креслах одних легкомысленных пошляков? Но вы только что видели их!

– Она слишком осторожна в изъяснении своих душевных движений и не принимает никакого участия в достоинстве драматического искусства, особенно русского.

– Что это? Вы открыли в России драматическое искусство? Это новость! Прошу вас, просветите меня.

– Вы знаете, Грибоедов, как я дорожу вашим мнением, однако вы бесите меня своим скептицизмом. Ваш охладелый ум не находит достоинств ни в ком и ни в чём.

– Мой милый, вы клевете на меня, я нахожу в ваших рифмах задатки большого поэта, в противном случае об чём бы нам толковать?

У Пушкина засветились глаза:

– Бросьте, я не об том! Неужели вы не признаете достоинства в сатирах Фонвизина, этого друга свободы? Или в комедиях и в трагедиях Княжнина? Или в Озерова «Фингале»⁵⁴?

– Полно, Пушкин! У Фонвизина если и было какое-нибудь дарование, так он его сам погубил. Что до Озерова и Княжнина, охота была им стискивать себя во французские казённые правила, слишком тесные для духа искусства, тем паче для русского духа, отчего один слишком приторен, другой слишком холоден для меня, я слышу по вашему тону, что и вы сами к ним равнодушны.

– Пожалуй, я согласился бы с вами, скажи вы, что успехом своим Озеров большей частью обязан Семёновой.

– Извольте, готов согласиться, с этим голосом и с этой статурой не один Озеров имеет громкий успех.

Пушкин с увлечением подхватил, верно ужасно любя свою мысль:

– Да, да, говоря об русской трагедии, поневоле говоришь об Семёновой, и, может быть, только об ней!

Он поднял брови и посмотрел на Пушкина снизу очков:

– Что я слышу, вы заговорили другим языком!

– Одарённая талантом, красотой, чувством, верным, живым, сама собой образовалась она и...

– Помилуйте, Пушкин, как вижу, вы пасынок здравого рассудка больше, чем я.

Пушкин вспыхнул:

– Не станете же вы отрицать, что подлинника Семёнова никогда не имела?

Он не смутился:

⁵⁴ *Озеров* Владислав Александрович (1769-1816) – русский драматург, его творчество соединяет черты классицизма и сентиментализма.

– Стану, конечно. Мадемуазель Жорж⁵⁵ служила ей подлинником, а учителем драматического искусства был у ней сперва Дмитревский, потом Гнедич, что естественно изъясняет все её недостатки, к тому ж если Гнедич не растолкует ей роль, так она в ней решительно ничего не поймёт.

– Согласиться никак не могу! Бездушная французская актриса Жорж, лукавый Дмитревский⁵⁶ и вечно восторженный Гнедич⁵⁷ могли только ей намекнуть на глубокие тайны искусства, которые сама она поняла откровением своей гениальной Души!

– Это всё ничему не учась?

Пушкин так увлёкся Катериной Семёновой, что не отвечал на вопрос.

– Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевлённых движений, орган чистый, ровный, приятный и часто порывы вдохновения истинного, всё сие принадлежит Семёновой безраздельно и ни от кого не заимствовано, разве этого не видать? Она украсила несовершенные творенья несчастного Озерова и сотворила роли Мойны и Антигоны. Она одушевила измеренные строки Лобанова⁵⁸. В пёстрых переводах, составленных общими силами, которые, по несчастью, нынче сделались слишком обыкновенны, мы одну Семёнову видим и слышим, и гений актрисы удерживал на подмостках все сии плачевные произведения союзных поэтов, от которых поодиночке отрекался каждый отец. Нет, Семёнова не имеет соперницы. Пристрастные толки и минутные жертвы, принесённые новости прекратились. Она осталась самодержавной царицей трагической сцены.

Неужели молодой человек так влюбился в Катерину Семёнову, что не видит очевидных её недостатков? Неужели не знает, что в соперницы, и не без основания, Семёновой пророчат Валберхову? Впрочем, что ж он стариковски ворчит, все влюблённые слепы, истина вечная. То-то Голицыну радость, коли узнает. И он с лёгкой иронией вставил:

– Ваше красноречие просто великолепно. Вам осталось с тем неё жаром сказать похвальную речь об Истоминой.

– Она блистательна, полувоздушна, она...

Он весело перебил:

– Таким образом, вы по-прежнему влюблены и в ту, и в другую?

Пушкин сердито нахмурился:

– Вы дьявол, с вами ни об чём серьёзном нельзя говорить.

– Только это вы и желали мне доказать своей восторженной речью, посвящённой талантам Семёновой?

– Нет, я желал доказать, что наша публика своей холодностью, слишком похожей на вашу, исправно губит театр. Если в половине седьмого одни и те же лица являются из казарм и совета занять первые ряды абонированных кресел и лож, то для них это более условный этикет, чем приятное отдохновение.

– Позвольте вам возразить: театр, разумеется, не этикет, однако театр и не приятный отдых для публики, вовсе нет. В городах эллинов посещение театра почиталось обязательным для всякого гражданина, там театр служил воспитанию граждан, он был для них источником просвещения. Так вот, я вас спрошу: не доказывает ли это ежевечернее появление в театре одних и тех же лиц из казарм и советов желание нашей публики просветиться? Не настало ли и

⁵⁵ *Мадемуазель Жорж служила ей подлинником...* – французская трагическая актриса. Настоящее имя Жозефин Веймер (1787-1867).

⁵⁶ *Дмитревский* (псевдоним, наст. фамилия Дьконов-Нарыков) Иван Афанасьевич (1734-1821) – русский актёр, драматург, переводчик.

⁵⁷ *Гнедич* Николай Иванович (1784-1833) – русский поэт, переводил Ф. Шиллера, Вольтера, У. Шекспира, «Илиаду» Гомера (опубл. в 1829 г.).

⁵⁸ *Она одушевила измеренные строки Лобанова.* – Лобанов Михаил Евстафьевич (1787-1846) – поэт, драматург и переводчик.

для нас то блаженное время, когда театр может воздействовать на умы граждан и воспитывать их?

Пушкин негодовал:

– Просвещение! Воспитание! Но сии великие малые люди нашего пошлого времени, носящие на лице своём однообразную печать скуки, спеси, глупости и житейских забот, неразлучные с образом их вседневных занятий...

Он решительно перебил:

– Позвольте, на том углу, едва ли не ближе, вы с тем же пламенем уверяли меня под присягой, что они слишком глубокомысленны и замучены судьбами Европы и даже Отечества.

– Они всегдашние передовые зрители, нахмуренные в комедиях...

– В наших комедиях, точно, не расхохочешься.

– Зевающие в трагедиях...

– Помилуйте, в наших трагедиях как не зевать?

– Дремлющие в операх...

– Да наши оперы усыпят хоть кого!

– Внимательные, быть может, в одних только балетах, не должны ли по необходимости охлаждать игру самых ревностных наших артистов и наводить на их души томность и лень, если только их самих душой одарила природа?

Слава Богу, в этой пленительной болтовне о том да о сём он рассеялся от того, что попал в водевиль, и посоветовал мирно, ощущая себя беззаботным и лёгким:

– Ставьте в наших театрах Шекспира, и вы не отыщете в артистах ни лени, ни томности, и эта же публика, портрет которой вы так сатирически представили мне, ни за что не уснёт, даже если после казарм и советов захочет уснуть. А у нас, помилуйте, кого нынче ставят у нас?

Пушкин тотчас съязвил:

– Пустые комедийки Шаховского и тяжеловесные переводы Катенина, ваших лучших друзей.

Он дружески возразил, ничуть не сердясь:

– Помилуйте, к чему горячиться? Я тоже не нахожу большого искусства в комедиях Шаховского, однако в них прекрасный, живой, разговорный язык, недурные стихи, каких у ваших лучших друзей не найдёшь днём с огнём, его комедии злободневны, они колют и жалят и вызывают целые бури в партере, тогда как от слезливых стенаний ваших лучших друзей так и хочется утопиться в московском пруду.

Пушкин горячо возмутился:

– Этот шут, погубивший из зависти Озерова!

Горячность Пушкина его поразила, он спросил, поворотившись всем телом к нему, остановившись перед ним:

– Мой милый, зачем вы так легковерны? Всё это вздорные сплетни. У Шаховского самый кроткий и ласковый нрав, кого ему погубить? Семёнова в те поры взбунтовалась, не хотела слушать его и портила роли одну за другой, князь отыскал и взамен ей отлично приготовил Валберхову, которая всем хороша, но по статуре не подходит на роли цариц, к тому же тогдашнее общество в самом деле волновали судьбы Европы, вот причины падения последней трагедии Озерова. Что до Катенина, то язык его переводов ближе к высокому стилю, каким должно трагедии переводить и писать, чем у всех прочих кропателей, занятых теми же переводами, однако ж без его основательной подготовки к труду, вы не согласны со мной?

– Как можно восторгаться Катениным, влюблённым в холодного фразёра Расина?

– Ах, Пушкин, остыньте, мы все не годимся Катенину и в подмастерья. Скажу о себе: я слабый и всё ещё недостойный его ученик. Подружитесь с ним при первой возможности, не пожалеете, право, не то туманы, печали и слезливые вздохи окончательно расслонявят ваш самобытный и сильный талант.

– Если он только есть у меня.

– Всякому таланту необходима суровая школа, и другой такой школы, как школа Катенина, у нас теперь нет.

– Своим учителем я выбрал Жуковского. Ах да, совсем позабыл, вы, кажется, торопились куда-то?

– Нет, это я вас так бессовестно задержал. Прошу меня не бранить. Разболтался на старости лет. Прощайте, я почти дома уже.

Он взял руку Пушкина, пожал её дружески, свернул тотчас за угол и вскоре был у себя.

Бог с ним, с какой стати в учителя выбрал Жуковского? Вот сам себе удружил!

Однако ж он не сердился. Случайный и смешной разговор на ветру расшевелил и успокоил его. Глаза Шереметева как будто на него не глядели. Бешенство, рождённое новым пасквилем Загоскина, точно присыпало пеплом. Другая, любовная рана тоже ныла только слегка.

Он согрел руки перед пылавшим камином, засветил в двух шандалах десять свечей, откинул без стука чёрную крышку рояля, блеснувшую лаком, сел перед ним, уже погруженный в себя, и с силой ударил по клавишам. Басы загудели торжественно, грозно. Им стройно и смело отозвались альты. Они о чём-то заспорили, заговорили друг с другом, и он, потянувшись за ними душой, слушал, слушал и вызывал всё новые сильные звуки.

Вольтер, старый шут, его давний кумир, вдруг ни с того ни с сего явился на ум, и музыка его озорно засмеялась.

Он не слышал ни дверного звонка, ни громкого стука в сенях и остановился лишь оттого, что изнемог и устал, и тут в немой тишине вдруг взмолился взволнованный голос Каверина:

– Продолжай, Александр, ради Бога, дай послушать себя!

Он вздрогнул и стремительно обернулся:

– Экой шут!

Каверин стоял, опершись плечом о косяк:

– Честное слово, я позабыл обо всём.

Он посоветовал через плечо, вновь обращаясь к роялю:

– Кликни Сашку, вели тринкену принести, опомнишься сей же часец.

Голос Каверина вдруг опустился и задрожал:

– Ты знаешь, Васька помер вчера.

На ум пришло торжественно и жутко:

Глагол времён! металла звон!
Твой страшный глас меня смущает;
Зовёт меня, зовёт твой стон,
Зовёт – и к гробу приближает...⁵⁹

Он сидел неподвижно, разминая утомлённые пальцы, говоря так, словно перед кем-то извиняться хотел:

– Я не выходил никуда, нынче только в театр.

– Я искал тебя там, сказали, что был да ушёл.

Он поднялся в каком-то тумане и задул все горящие свечи, оставивши только одну:

– Стало быть, душа его отошла...

Каверин прошёл к столу, но не сел.

– Отец рвёт на себе в отчаянье волосы, однако ж причитает притом, что он этого ждал, что иначе это и кончиться не могло, что Васька сам во всём виноват, что он даже рад, что

⁵⁹ *Глагол времён! металла звон!..* – Г. Р. Державин, ода «На смерть князя Мещёрского» (1779).

это кончилось скоро, что Васька наконец перестанет позорить семью и что он обратится сам к государю, чтобы дело было оставлено так и чтобы никто из участников не был наказан.

Александр негромко сказал, подавленный известием меньше, чем думал:

– Отец, в сущности, прав.

Каверин отчего-то заторопился, всё ещё стоя как-то неловко перед столом:

– Якубович, как прежде, готов всё дело взять на себя. Однако ж смерть Васьки точно помрачила его, он обвиняет в чём-то себя и уверяет чуть не прохожих, что и ты за Истоминой волочился и что он этого греха не позабудет тебе.

Александр точно обрадовался и только сказал:

– Это сбывается то, что над нами всеми должно было сбыться, увидишь ещё.

Каверин опустил на стул, с подозрением глядя, спросил:

– На что ты решился?

Он поёжился и не тотчас сказал:

– Пока ни на что.

Каверин прищурился, холодно бросил:

– Тогда я пошёл.

Он предложил, недобро взглянув:

– Тринкену задай, авось полегчает.

Каверин покачал головой, поднимаясь:

– Что-то в горло нейдёт, как узнал.

Он обмер и долго сидел неподвижно.

Очевидно, Завадовский не мог не стрелять. Все участники должны быть в этом согласны, кто был там и видел и слышал те исступлённые Васькины крики.

Не откажись он от глупого вызова Васьки, он стоял бы на месте Завадовского и тоже был бы поставлен в необходимость стрелять и, должно быть, убить, если не хотел быть убитым, поскольку другого промаха мог Васька не дать.

Однажды, дурачась, он нарочно пулей выбил у противника пистолет, однако та дуэль обыкновенной была, более шутовской, пустяковой, из вздора.

Было бы нельзя таким способом остановить взбешённого Ваську, как нельзя допустить быть убиту из глупости.

Впрочем, много ли это меняет?

Итак, отец Шереметева, может быть, станет просить о помиловании, да в таких обстоятельствах и просьба отца едва ли поможет, это как раз глупая власть любит себя на пустом показать.

Стало быть, будут все участники сосланы, исключая, естественно, доктора.

Сошлют Богдана Иваныча тоже, а жаль.

Что за дурацкая мысль пришла ему в голову – тащить за собой добрейшего, хоть и трусоватого немца.

Наворотил пропасть безрассуднейших дел, по плечу хоть кому, без замыслов чрезвычайных и важных.

К тому ли так долго, так обстоятельно готовил себя?

Да, вот и потеряна жизнь, вся в неизвестности пропадёт, в какой-нибудь грязной дыре, в гарнизоне, снова в полку, где пьют и в карты играют гусары, артиллеристы, пехота, все роды войск, куда ни сошлют.

Однако почему ж обязательно пропадёт? Ведь бывал не однажды изгнан Вольтер?

Что же Вольтер? Вольтер проводил годы изгнания в Лондоне, в приятном обществе литераторов, журналистов, философов, не в русском армейском полку, а у нас, бывает, отправляют подальше, чем в Лондон, – у нас, случается, отправляют в Сибирь.

Александр почти машинально поднялся, свою любимую книгу взял с края стола и, стоя, поднеся очень близко к глазам, принялся разбирать при слабом свете свечи, отчасти по догадке, отчасти по памяти, для того ли, чтобы посторонним занять свои мысли, надеясь ли укрепить свою мысль и свой дух:

«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей»⁶⁰.

Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь.

И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время своё и лист которого не вянет, и со всем, что он ни делает, успеет.

Не так нечестивые: но они – как прах, взметаемый ветром.

Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники – в собрании праведных.

Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет...»

Выходило, что не следовало ему обращаться к суду нечестивых, но сам он был нечестив, а на суд его всё равно призовут, не на тот, который, согласно с законом, соберётся по делу несчастной дуэли и убийства штаб-ротмистра Шереметева Васьки, а на иной, высший суд, где не утаишь и зёрнышка правды, где всякая вина станет явной виной, и не устоять ему на том высшем суде, если нынче суд совести не направит его на праведный, единственно истинный путь.

Несколько дней неторопливо и мрачно размышлял он об этом, об единственно неподкупном суде, о великом Вольтере с костяной головой, с провалившимся, саркастически улыбающимся ртом, и о пути своём дальнем, не ведомом пока никому, позабывши о прочем, не призраживаясь к еде, а в понедельник его вызвали дать показание, и он, сосредоточенный, бледный, надевши чёрный сюртук, явился, ещё не решив, что ответит земному суду.

За длинным казённым столом, покрытым, как водится издавна, потёртым красным сукном, его в полном молчании встретили двое. Полковник Ланской, безучастный и хмурый, склонив круглую голову, бессловесно и медленно отрывал от листа полоски бумаги и вертел из них тонкие трубочки, точно солдат, и хотел закурить.

Полковник же Ковалев, затянутый в тесный мундир, с глубокой морщиной, прорезавшей невысокий скошенный лоб, с неподвижным взглядом красивых женственных глаз, тягуче и важно читал по бумаге, вскидывал голову и бросал равнодушный вопрос:

– Что вам известно об обстоятельствах дуэли между камер-юнкером Завадовским и штаб-ротмистром Шереметевым, имевшей быть двенадцатого сего ноября, в два часа пополудни, на Волковой поле?

Александр тотчас решил, глядя на этот скошенный лоб, и ответил твёрдо, спокойно:

– Мне об этом деле ничего не известно.

Ковалев читал далее, не взглянув на него:

– Состояли ли вы в знакомстве с штаб-ротмистром Шереметевым, и если состояли, как коротко?

Он овладел собой, даже несколько улыбнулся в ответ:

– Да, состоял, и в очень коротком.

– Состояли ли вы в знакомстве с балериной Истоминой, и если состояли, то коротко ли?

– Да, состоял, и в очень коротком, однако отношения эти за пределы самых дружеских не выходили.

– Балерина Истомина показала на следствии, что «когда она была пятого числа, в понедельник, в танцах на театре, то знакомый как ей, так и Шереметеву, ведомства Государственной коллегии иностранных дел губернский секретарь Грибоедов, часто бывший у них по дружбе с Шереметевым и знавший о ссоре её с ним, позвал её с собою ехать к служившему при теат-

⁶⁰ «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых...» – Псалтирь, псалом 1.

ральной дирекции действительному статскому советнику князю Шаховскому, к коему по благосклонности его нередко езжала, но, вместо того, завёз на квартиру Завадовского, но не сказывая, что его квартира, куда вскоре приехал и Завадовский, где он, по прошествии некоторого времени, предлагал ей о любви, но в шутку или в самом деле, того не знает, но согласия ему на то объявлено не было, с коими посидевши несколько времени, была отвезена Грибоедовым на свою квартиру». Подтверждаете ли сие?

Во всём её показании, довольно лукавом, самым опасным ему представлялось именно то, что Завадовский предлагал ей любовь, и Александр с намерением ответил уклончиво:

– Да, подтверждаю, но единственно то, что пригласил её ехать для того только, чтобы узнать подробнее, как и за что она поссорилась с Шереметевым, и как жил до сего времени за неделю на квартире графа Завадовского, то и завёз на неё, куда и Завадовский в самом деле вскоре приехал, но объяснял ли он ей о любви, я не помню, только провели вечер все вместе, а после отвёз Авдотью Ильинишну в её квартиру.

Ковалев выслушал, казалось, ещё равнодушной и кивнул своему адъютанту:

– Пригласите графа Завадовского.

Завадовский тотчас вступил и встал рядом с ним, спокойный, но тоже бледный, и Ковалев, вновь с бумагой в руке, обратился к тому:

– Вы показали, что вы «её в театре, на лестнице лично приглашал к себе, когда она оставит Шереметева, побывать в гостях у него, но с кем она приехала к нему, не знает и о любви, может быть, в шутках говорил и делал разные предложения». Однако губернский секретарь Грибоедов показывает, что это он, губернский секретарь Грибоедов, желая «узнать подробнее, как и за что она поссорилась с Шереметевым, и как он жил до сего времени за неделю на квартире графа Завадовского, то и завёз на она, куда приехал и Завадовский». Как можете изъяснить вы сие разногласие?

Завадовский сухо ответил, не меняясь в лице, глядя на полковника поверх головы, точно ни знать ни видеть его не хотел:

– В таком случае я беру назад своё показание и заявляю, что ошибся, приняв визит Истоминой на свой счёт.

Ковалев поглядел на Завадовского долгим немигающим взглядом тупого служачки, пожевал ярким чувственным ртом и наконец приказал:

– В таком случае прошу вас удалиться.

Подождал, пока Завадовский выйдет своей размеренной, неторопливой походкой, и вновь, склонившись к неразлучной бумаге, обратился к нему:

– Далее Истомина показала, что между нею и Шереметевым произошло примирение и что в течение двух следующих за тем дней Шереметев замучил её, расспрашивая о том, была ли она у кого-нибудь во время их ссоры, причём грозил её застрелить и вынудив у неё признание о её визите к Завадовскому, после чего Шереметев и вызвал его на дуэль. Со своей стороны, секундانت и друг Шереметева лейб-гвардии уланского полка корнет Якубович, был спрошен, утверждал, что причиной дуэли был какой-то «поступок Завадовского, не делавший чести благородному человеку», однако же разъяснить эти слова отказался, ссылаясь на обещание хранить тайну, данное им умирающему Шереметеву, а от очной ставки с Завадовским уклонился, прося «пощадить его, не дав случая видеть убийцу друга его и виновника всего его несчастья». Прошу изъяснить, что вам известно о причинах оной дуэли?

Александр, чуть помедлив, твёрдо сказал:

– О причинах дуэли мне ничего не известно.

Ковалев не поднимал головы и мерно бубнил:

– Что известно вам о последствиях оной дуэли?

Это было бы почти невозможно, если бы он вдруг заявил, что и о последствиях одной дуэли не знал ничего, однако всё оказывалось так неожиданно в этом скучном, нормальном допросе, что он решил на самую наглую ложь, смело глядя Ковалеву в макушку:

– И о последствиях одной дуэли точно так же мне ничего не известно.

Ковалев бросил, неторопливо передавая бумагу Ланскому:

– От имени следствия благодарю вас за данные показания. Вы имеете быть свободны.

Александр поворотился и вышел, облегчённо вздохнув, сам не веря себе, что никто ни в чём противозаконном не заподозрил его.

Спустя несколько дней всему городу стало известно, что Завадовскому, внимая настоятельным просьбам отца Шереметева, предложено было выехать за границу, а Якубовича постановлено было перевести тем же чином в Нижегородский драгунский полк, причисленный к действующим войскам на Кавказе.

Александр запёрся у себя.

До этого времени судьбой своей он почти был доволен. Квартира у него была славная, жил он привольно, не обязанный никому ответа давать о себе, что, по его понятиям, было важнее всех земных благ. Круг друзей был хотя тесный, да слишком по сердцу ему. Он веселился, волочился, играл и кое-что писал иногда задорным стихом, не помышляя добыть себе славы или денег этими поспешными вздорами, не заглядывая в будущее далее вечера предстоящего дня.

Чем соблазнила его такая беспечная, беспечальная жизнь, к которой он никогда не стремился, но готовил себя? Может быть, тем соблазнила, что такой вольной жизнью он никогда ещё не жил, вечно в тисках, которыми матушка из любви оковала его и которыми, сверх того, он и сам себя оковал, в юности доискиваясь не одних только обширных познаний, хоть имея к ним страстную, ничем не насытимую склонность, но в придачу доктора чин, взлелея обширное честолюбие, неизбежное при несколько странных семейственных его обстоятельствах.

Эта беспечная, бестолковая, праздная жизнь была ему слишком уж внове, вот в чём, пожалуй, таилась беда, и потому совершенно закружила его, как перед тем приключилось в полку. Он был счастлив вполне, всей своей страстной натурой отдаваясь первобытным страстям, а лучшее время неприметно от него утекало, ни за каким временем он не следил, часов не считал, когда ему было думать об них?

И вдруг подумал теперь, бесцельно слоняясь по своему кабинету: пролетают все самые лучшие годы, а что остаётся от них, не говоря уж об вечности, ему самому? Забавы, соблазненные жёны, чаще вовсе не соблазненные, а за известную плату, несколько хлестких острот, разлетевшихся по гостиным и ложам театров, дурацкие фельетоны в журналах, заёмные водевилы, а более? Более ничего!

Вот третий год, как он в Бресте, сказавшись больным, выправил отпуск лечиться, повалялся в кибитку с дорожным мешком и с нетерпением в сердце примчался сюда.

Не имея в Петербурге родного угла, он прямо явился в дом дяди, с корабля, как говорится, на бал. Алексей Фёдорыч, притихший и хмурый, пожимая его на морозе настывшую руку, неодобрительно говорил:

– Что, всё корнет, как и был? Верно, в военной-то всё фордыбачил, как дома, при мне? По заслугам и честь, а заслуги-то где? Нет, верно, толку не будет! Прости старика.

Разоренный, в долгах, скрывшийся из Москвы в Петербург, не открывая свой питерский адрес, обворованный Руничем, женатым на племяннице Настасьи Семёновны, которого забрасывал письмами, умоляя воротить зажиленный долг, тысяч до двадцати, дядя метался по Петербургу в поисках денег и почти не заговаривал с ним, не до того, брат, видишь сам, какая петля, прости старика.

Настасья Семёновна обняла его как родного, радуясь от души, что воротился живой, не застрелен проклятым французом, здоров.

Лизавета Алексевна, кузина, в которую с мальчишества был он так страстно влюблён, похорошела и расцвела в свои двадцать лет, да встретила его, вопреки ожиданиям, насмешливо и равнодушно, приехал, ну, хорошо, так и что ж?

Он был сражён. Как так? Что с ней стряслось? Кто без него покорил её непокорное капризное сердце?

Главное, из молодых людей, сколько-нибудь равных ему по дарованиям и уму, никто не бывал, а он крайне был убеждён, что для женщин всё именно сумма дарования и ума. Один Иван Фёдорович Паскевич⁶¹, происходивший Бог весть от кого, от какого-то Фёдора Цаленка, сын которого прозывался уже Пасько-Цалый, а внук переметнулся в Паскевичи, тридцати трёх лет, а уже генерал-лейтенант, командир второй гренадерской дивизии, в своё время произведённый из пажей в поручики лейб-гвардии Преображенского полка, назначенный флигель-адъютантом тогда же, принимавший участие в турецкой кампании, командуя небольшими отрядами, тем не менее ставший бригадным командиром через пять лет, участник сражений под Салтановкой, Смоленском, Бородином, Вильной и Модлином, у Дрездена, под Лейпцигом, в блокаде Гамбурга, у Арсис-на-Обе и во взятии французской столицы, однако же нигде ни отличивший себя ни личной храбростью, хотя бы сродственной нелепой храбрости Якубовича, ни дарованием полководца, так вот удачливый генерал-лейтенант просиживал в кабинете у дяди по два часа, манкируя занятиями службы, в новёхоньком генеральском мундире, в густых эполетах, с тремя большими звёздами одна над другой, красивый, собака, что говорить, с подвижными кудрями, с выпуклыми глазами, с презрительным ртом, с самодовольным выражением на слишком явственно недалёком лице, и вкрадчивым голосом повествовал, всё, само собой, о себе:

– В Париже, как в Петербурге, разводы гвардии начались, и мы из гренадерского корпуса туда поочерёдно езжали. В один из сих без сучка без задоринки стройных разводов государь, приметив меня, подозвал и совершенно неожиданно рекомендовал Николаю Павловичу, августейшему брату: «Познакомься, – изволил сказать, – с одним из лучших генералов моей армии, которого я ещё не успел поблагодарить за отличную службу». Николай Павлович после того, к моей радости, постоянно зывал меня к себе и со многими подробностями выспрашивал о последних кампаниях. С разложенными картами, по целым часам, мы вдвоём разбирали все движения и битвы двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого годов. Я у него частенько обеживал, и когда за распоряженьями службы у него не мог быть, так он мне потом говорил, что я его опечалил. Такому благоволению завидовали многие и стали в шутку острить, что он влюбился в меня. Не знаю, как он, но его нельзя мне было не полюбить. Черта его главная, которой к себе он меня привязал, – откровенность и прямота. Брата Михаила Павловича он любит, но до серьёзных разговоров не допускает, да и тот их, правду сказать, недолюбливает. Помню, однажды, на бале у Талейрана⁶², государь и прусский король подошли сами ко мне, поздоровались, и государь поздравил меня с только что мною полученной Александровской лентой. Я и не подозревал, что нахожусь в такой милости. Перед этим балом Николай Павлович, зная, что пожалована мне высочайшая лента, попросил позволения приехать ко мне и лично её привезти. Государь ему позволил у меня быть, однако ленту не дали, а прислали с курьером, как полагается по уставу. Николай Павлович у меня обедал и провёл почти целый день. Я признался ему, что очень бы хотел представить всех моих генералов и полковых командиров, которых ему наилучшим образом рекомендовал. Великий князь был с ними отменно любезен и обворожил всех прямотой своего обхождения. Он меня за это очень благодарил.

⁶¹ *Иван Фёдорович* Паскевич (1782-1856) – генерал-фельдмаршал (с 1829 г.), в 1827-1829 гг. наместник на Кавказе. Был близок к императору Николаю I. Дальний родственник Грибоедова.

⁶² *Талейран* Шарль Морис (1754-1838) – французский дипломат. Глава французской делегации на Венском конгрессе 1814-1815 гг.

Ему и в голову войти не могло, чтобы заносчивая Элиза могла серьёзно увлечься таким самодовольным болваном, которому в карьере прекрасной помогло куда больше, чем в характере и в уме, однако и она так холодно и так насмешливо относилась к болтливому генералу, точно так, как всегда относилась к нему, он не вытерпел и вскоре из гордости съехал от дяди, пожил недолго на «чердаке» любезного Шаховского, но, наскучивши слишком шумным актёрским житьём, схожим как две капли воды с полковым бивуаком, переместился к Степану, служившему в гвардии после кавалерийских резервов, и с того дня всё ровно в пути и всякий день как на станции, спросонья кричит лошадей.

И этот потерявшийся человек будто бы он?

И по какой такой надобности он скакал тогда сломя голову в Петербург?

Жениться ли возмечтал на кухне? О литературной ли известности вдруг воспарил в облака?

Кому знать?

Ещё в Польше повстречался он с Шаховским, который очень кстати очутился там с ополчением, и впопыхах не заметил, как, обыкновенно мало расположенным к доверительности, прочёл князю несколько своих весьма зелёных стишков, выкинувшихся у него ненароком, не в поэты же метил он поступить. Шаховской, фантазёр и добряк, имевший ум приятный и кроткий ласковый нрав, с физиономией эллинского сатира, с первым встречным до хрипа пищавший о стопах и рифмах, выдавший кругом себя одних даровитейших драматургов, обязанных возвысить российскую сцену, которую обожал, превыше сцены французской, тотчас ему посоветовал перевести французскую пьеску «Семейная тайна», пера посредственного, однако ж трудолюбивого Крезе де Лессера, восторженно обещая при этом, вот только окончатся военные действия, а и скоро уже, содействовать постановке перевода на сцене.

Дав ей название «Молодые супруги», он отчасти перевёл, отчасти переделал её, пользуясь той же разговорной манерой, которую ввёл на театр Шаховской, стихи выкинулись несколько, на его вкус, дубоватыми, однако же он, то и дело самые неудачные перепрыгивая лукаво глазами, нашёл свою пьеску довольно удачной и привёз Шаховскому, расхвалившему тотчас её до небес, вдохновенный болтун и фарсёр.

Каких благ ожидал он от своей переделки? Славы ли, которая столь рано снилась ему? Денег ли, которых ему никогда не хватало на самые крайние нужды? Кузину ли в самое сердце желал поразить? Первых ли успехов и первых театральных знакомств, которые помогли бы ему обсмотреться и тогда уж двинуться к тому совершенству, которое властно диктовал ему его строгий вкус, воспитанный древними классиками, Шекспиром, Гёте и Шиллером, творенья которых знал он почти сплошь наизусть?

Великие боги, этой загадки не разгадал он ни тогда, ни теперь!

По обыкновению, заведённому Шаховским, возмечтавшим вдруг особы своей соединить всех талантливых молодых драматургов, он прочёл свою пьеску на «чердаке», как насмешливо выражался по всякому поводу остривший хозяин, в кругу истинных знатоков и всех знаменитостей сцены.

Заёмный сюжет был уж больно не сложен. Счастливый муж трёх месяцев не выдержал безоблачной супружеской любви, скучал и маялся ужасно с красавицей женой, не знал, куда себя девать, оставшись с ней наедине, газету ей предпочитал и обличал обманы воспитанья, которым маменьки морочат слишком ловко извечно глупых женихов:

Притом и не видать в тебе талантов тех,
Которыми сперва обворожила всех.
Поверь, со стороны об этом думать можно,
Что светских девушек образование ложно
Невинный вымысел, уловка матерей,

Чтобы избавиться от зрелых дочерей;
Без мыслей матушка проронит два-три слова,
Что дочка будто ей дарит рисунок новый;
Едва льзя выпросить на диво посмотреть.
Выносят наконец ландшафт или портрет,
С восторгом все кричат: «Возможно ль, как вы скромны!»
А чай работали художники наёмны.
Потом красавица захочет слух пленять, –
За фортепьяно; тут не смеют и дышать,
Дивятся, ахают руке столь беглой, гибкой,
Меж тем учитель ей подлаживает скрипкой,
Потом, влюблённого как в сети завлекли,
В загоне живопись, а инструмент в пыли.

Уже ему иные прелести милы. Уже слегка Арист влюблён в Аглаю. Уже к коварной на свиданье поспешал, пред верным другом разливаясь в оправданиях:

В наш век степенница по свадьбе через год
Берёт любовника, – единообразье скушно,
И муж на то глядеть обязан равнодушно.
Всё это сбыточно, всё это быть должно
Со мною, как с другим, – так раз заведено.
Однако до тех пор хотел бы я в Эльмире
Все видеть способы Мой будущий удел я знаю наперёд;
искусства, средства в мире
Рядиться, нравиться, приятной, ловкой быть,
А более ещё, чтоб таковой прослыть,
Чтоб рой любовников при ней был ежечасно,
Но ею презренный, рой жалкий и несчастный!
А я бы думать мог, на этот рой смотря:
Старайтесь круг неё, а наслаждаюсь я!

И был таков, а друг почти в его словах преподал жене его урок:

Тот муж, мы, например, каким Ариста знаем,
Уверенный, что он женою обожаем,
Что ясных дней его ничто не омрачит,
В беспечности благой живёт как сибарит;
Вседневны ласки он с холодностью приемлет;
Взаимость райская утихнет и задремлет;
Ему ничто не впрок, и чужд сердечный страх.
Нет! постарайтесь быть хотя в его глазах
Вы легкомысленней и больше прихотливы;
Увидите, какой он будет боязливый.
Едва опомнится, что может потерять
Блаженство, коим стал он так пренебрегать,
С супругой-ангелом в любви минутах тайных,
Он в заблуждениях раскается случайных
И, образуясь, вам покорен будет вновь.

А тут как раз вернулся глупый муж, случайно вместе их застал и гневных обрушился упрёков градом:

Я тысячу могу вам случаев исчислить,
По коим должен был об вас я худо мыслить;
Довольно было бы смешно не замечать
Мне на лице у вас уныния печать,
Когда наедине мы оставались с вами;
И часто думал я, что, кстати, между нами,
Страдаете всегда вы болью головной,
Когда случается вам выезжать со мной.
Сегодня поутру, на что искать нам дале,
В смятении были вы, погружены в печали,
Когда напомянул я о деревне вам:
Конечно, скоро бы прибегнули к слезам,
К упрёкам, жалобам! – на дело не похоже!..
Является Сафир, я ухожу – и что же!
Откуда всё взялось на бедствие моё:
Весёлость, острога, наряды и пенье –
Все, словом, женские чертовские приманки.
Я в дверь, вы со двора, и очень спозаранки.
Не ведаю, какой злой дух в меня вдохнул,
Чтобы Сафиру я об этом намекнул?
Изменник! над моим ругался как несчастьем!
Как утешал меня притворным соучастьем!
Непринуждённо как смеялся, ободрял!
От горькой истины как хитро отвращал!
Как другом и женой жестоко я обманут!
Но более меня обманывать не станут.
Что вы потупили глаза? вы смущены?
Подайте же письмо.

Недоразумение, само собой, тут же легчайшим образом и разъяснялось. Взбешённый ревностью, муж вновь в свою жену влюблялся, иначе, видишь, нам нельзя, и в клятвенных восторгах рассыпался:

Как хочешь, но теперь в столице иль в пустыне
С тобою дома я сажу отныне –
Днём, утром, вечером, и в полдень и в полночь,
Все вертопрашества и суетности прочь!

Не тут-то было, жена, уроком сим прозрев, уж не хотела запираяться на замки и, отдавая должное советам друга, давала жёнам всем полезнейший урок:

Так, если несколько тебя сей день исправил,
Его благодари: он и меня наставил,
Чтоб вкусам я твоим старалась снисходить,
Затем чтоб и других приманок отвратить,

Чтоб иногда твоей противилась я воле,
Затем, чтоб ты ценил моё смиренство боле.
Так! он любовь твою мне возратить хотел,
Старался сколько мог – и, может быть, успел.

Знатоки и завсегдатаи подмостков, и первый между ними Шаховской, к чужим комедиям ревнивец страшный, заключили, что он весьма удачно сжал французом неумелым весьма растянутый сюжет и что благодаря тому его пьеска оказалась довольно жива, энергична и вместе с тем забавна. В особенности они хвалили стих, сродни стиху комедий Шаховского, и непринуждённость разговорной речи, которой он везде заменил гладкую, однако же безличную риторику француза. Несколько счастливых его афоризмов удержалось в их дружеской памяти, и они повторяли, смеясь:

Свой дом всем прочим я предпочитаю.
Мне, право, всё равно.
Везде, где только бал, она необходима.
Чему ж дивиться нам, что мало верных жён.
Не послушание мне нужно, а любовь.
Как будто бы мужья умеют попросить.
Что хочет женщина, то сбудется всегда.

Ещё хотелось, чтобы они заметили его главнейшую мысль, которой он дорожил: что отвлечённое умствование даже в умном человеке смешно безмерно, что сама наша прозаическая жизнь полна капризов и оттого много богаче и сложнее замысловатых выкладок сухого, книжного ума и всегда того оставит в дураках, кто в высокомерии самодовольном праздного рассудка попадает в её хитрые сети, однако знатоки водевилей как раз не обратили никакого внимания на его заветную мысль.

Развеселившийся, довольный донельзя своим первым открытием, пророча столь неробкому автору, по этой первой пробе вполне мужественного пера, превосходное будущее, Шаховской озаботился тотчас, чтобы роли распределились самым выгодным образом.

Роль Эльмиры, жены, так счастливо нашедшейся вновь влюбить в себя охладелого мужа, предназначалась Катерине Семёновой, которая, уж если хотела и с помощью Шаховского разобрала смысл своей роли, могла дотянуть до успеха и самую слабую, самую безнадёжную пьеску, да тут возникло препятствие, с её гневливым характером едва ли преодолимое: она с Шаховским была в ссоре, между ними нередкой, на этот раз затянувшейся чересчур, к удивлению театрального братства, которое беспрестанно ссорилось, однако ж скоро мирилось между собой.

Шаховской, лукавый и вёрткий, пустился в тонкую хитрость, на которые был ужасный мастак, если только дело касалось обожаемого до страсти театра. «Молодые супруги» были включены в бенефис Нимфодоры Семёновой⁶³, и по этому случаю бенефициантка сама упростила сестру. Та наконец согласилась, вопреки даже тому, что, актриса трагическая, никогда перед тем не играла комедийных ролей.

Шаховской пребывал в своём кротком восторге, пожимался, шурил маслянистые глазки и потирал пухлые белые ручки с довольной улыбкой сатира.

Роль Ариста, рассудительного и так глупо оплошавшего мужа, досталась Сосницкому, тоже счастливо открытому Шаховским.

⁶³ ...включены в бенефис *Нимфодоры Семёновой*... – Нимфодора Семёновна Семёнова (1788-1876) – оперная певица, сестра Екатерины Семёновой.

Роль Сафира благосклонно согласился взять Брянский, известный актёр, рассудительный, однообразный до скуки, однако обладавший звучным органом, прекрасно читавший стихи, как будто так и родившийся записным резонёром.

Шаховской сам принялся за грозные свои репетиции, доводя внушительную Семёнову до слезливых истерик, а Сосницкого с Брянским до холодного пота, неумолимый, стремительный, страстный, кричавший визгливо, падавший на колени то с пламенной, то с слёзной мольбой, в изнеможении рвавший на голове остатки когда-то пышных кудрей.

В конце сентября запестрела афиша, извещавшая всех, что в бенефис Нимфодоры Семёновой даётся опера «Эфрозина и Корадин» и комедия в одном действии в стихах и с пением сочинения А. С. Грибоедова.

Что говорить, это глупо ужасно, а он был в те дни вне себя.

Нет, он знал превосходно, что это вышел из-под пера всего лишь ничтожный пустяк, что это лишь самая первая, хотя и не робкая, проба молодого таланта, к тому же не в свободном творении, а в переделке, и что его новое имя решительно никому не известно, даже игравшим в его пьеске актёрам.

Он очень холодно и умно рассуждал, что этот заёмный игривый сюжет уж слишком избит и что надобно быть уже слишком не от мира сего, чтобы так по-дурачки попасться на рассчитанное кокетство осточертевшей жены, а потому в его пьеске соли нет, нет ни на полушку ума.

Он твердил, что афиша составлена точно так же, как все театральные афиши на свете, и что деревянный Малый театр, открывшийся взору, когда он в праздничном ошалении брёл на премьеру, от Публичной библиотеки, чересчур неказист, и если фасад его украшают колонны, так, видимо, лишь для того, чтобы сделать архитектурное уродство его очевидным.

И всё же он был вне себя и с каким-то особенным чувством, намереваясь прийти позже всех, вступил в пустой зал, который только начинал наполняться, и замирал при мысли о том, что нынче более никто не придёт, и то и дело пожимал пружинку часов.

Однако зал был наконец переполнен. Имена Нимфодоры и Катерины Семёновых собрали публику самую избранную, способную не только беспрестанно хлопать в ладони, но и что-нибудь понимать. Катерина блистала красотой ослепительной, при малейшем одушевлении её голос вызывал в публике слёзы восторга и гром, её глубокая игра увлекала, поражала и очаровывала, несмотря даже на то, что романс она спела очень посредственно. Сосницкий, стройный, с выразительным подвижным лицом, которое часто оживлялось его особенной умной улыбкой, играл превосходно, шаржируя, к удовольствию публики, всем известного светского шаркуна. Брянский декламировал, сильным голосом оттеняя, тонко и верно, каждое слово стиха.

Грянул внезапный успех. В первый раз довелось испытать ребяческое удовольствие стихи свои слышать в театре. Он был отравлен слегка и слегка опьянён бестолковым хмелем бурных аплодисментов и с кружащейся головой страшился попасть в недостойное положение, если откроется публике, что в самом деле голова у него раскружилась, отчего эти первые жаркие поздравления принимал он с иронической тонкой усмешкой, но с тайной гордостью отмечал, что его «Молодые супруги» время от времени возвращались на сцену. Он приятно был изумлён, что иные юные авторы уже откровенно, хоть и топорно, подражали ему, выпекая в своих непрокалившихся печках довольно сырые, но страсть как похожие пьески в духе этой салонной комедии.

Что было после этого начинать?

Военная служба не принесла ему славы, о которой он пылко мечтал, вступая своей волей в гусары. Он с ней мирился, пока бились с вероломным французом, да и то главным образом потому, что в кавалерийских резервах, куда, по счастью, его занесло из полка, делал чрезвычайно важное и полезное, хотя малоприметное дело. В мирное время, в глазах его, военная служба утратила смысл: и пёстрый мундир его не прельщал, и не желал подражать он бессчёт-

ным Паскевичам с их беспрестанной самодельной белозубой улыбкой, да и в чинах обнаружился слишком уж небольших, чтобы ляжку тянуть и на что-то рассчитывать в мирное время, когда в армии скука и маета, злейший враг для живого воображения. Выходило, что на этом поприще терять ему было нечего. Он решил проситься в отставку и облегченно вздохнул.

Отношения с Элизой оставались туманными. Кузина взглядывала иногда на него с интересом, не в силах, должно быть, устоять перед его блестящим умом. Успех «Молодых супругов» придавал ему веры в себя. Он решил подготовиться к экзаменовке на звание доктора и с этой целью отправился в Дерпт, рассчитывая, как прежде в Москве, и разом двинуть карьеру, залучив с дипломом вожделенное право вместо губернских секретарей именоваться тотчас коллежским асессором, и завоевать, может быть, её благородное, но слишком тщеславное сердце.

Однако в Дерпт сперва не пускала внезапная шумная литературная и театральная жизнь. Непоседливый Шаховской, обремененный запутанными делами по театральной дирекции, всё-таки успевавший, Бог весть когда, много и лихо писать, умелый наставник, задиристый собеседник, приятель веселый и добрый, открытый, простой, несмотря на порядочную разницу в годах, поставил комедию «Урок кокеткам, или Липецкие воды» примечательную, другим не в пример, по удачному своему исполнению, по верности выведенных на сцену характеров, по веселости и затейливости своей и по многим хорошим стихам, которые встречались на каждом шагу.

Представление, как и было задумано, превратилось в ужасный скандал. На сцене выставлен был на суд зрителей только что переселившийся в Петербург, милостиво принятый вдовой-государыней, возлюбившей в нём прославленного певца её победоносного сына, окруженный почтением и громкой молвой, скромный и простой в обхождении, застенчивый, мягкий, чуждый литературным браням Жуковский, под сатирическим именем поэта Фиалкина, светоча слезливой поэзии, который, влюблен и печален, томную любовь принуждал петь вечного старца Гомера, услаждал туманными балладами свой разнеженный, чувствительный вкус и возвещал:

**И полночь, и петух, и звон Костей в фобах.
И чу!..**

Набор слов, смешной, хоть невинный, точно заклятие дьявола, чаще других выступал в наивно-печальных балладах Жуковского, которые были у всех на устах, слыли за образец утонченного вкуса и превратились в предмет самых пошлых и многочисленных подражаний. Можно ли было этот набор слов не узнать? Конечно, нельзя. Немудрено, что тотчас узнали, от кресел до лож и райка, узнал и Жуковский, сидевший в креслах с друзьями, сконфуженный нескромными взорами, вдруг обращенными со всех сторон на него.

Так вдруг сошлось, что комедия Шаховского, невинная сама по себе, явилась громким возобновлением прежней жестокой войны⁶⁴, было притихшей с нашествием Бонапарта и вспыхнувшей вновь с утверждением европейского мира. Первая победа, по общему мнению, осталась на стороне Шаховского. Этот выстрел публика приняла с одобрением, громкогласным, задорным и шумным. В тот же вечер в доме Бакунина, гражданского губернатора, состоялось веселое празднество, и сама губернаторша под дружные клики гостей надела на счастливого автора венки победителя. На другой день Иван Андреевич Крылов с улыбкой коварной и

⁶⁴ *Так вдруг сошлось, что комедия Шаховского... явилась громким возобновлением прежней жестокой войны...* – Комедия Шаховского «Урок кокеткам, или Липецкие воды» была поставлена 23 сентября 1815 г., литературные друзья автора увенчали его в доме писательницы А. П. Буниной лавровым венком, арзамасцы её торжественно «отпели» А. А. Шаховского, исполнив кантату Д. В. Дашкова, которую Пушкин считал «очень остроумной пьесой».

умной обронил, с кем-то встретясь на Невском, очередное словцо, тотчас разнесённое всюду: «Как быть, насмешники на его стороне».

Хвалители, чтившие Жуковского как новейшего парнасского бога, воспевавшие сами, прозябая в столицах, ненаглядную сельскую тишь, пастушков и невинные слёзы на берегах ручейков, объявлявшие староверцами ретроградами всех хулителей новой сентиментальной волны и нового размягчённого слога, в старой поэзии и в старых речениях не находившие ничего, что бы было достойно продолжения, если не подражания, приняли эту смешную пародию как святотатство.

Хулители Жуковского, певцы великих деяний, поклонники сильного, выразительного, могучего слова, наконец получившие повод открытой злорадственной мести, преувеличенно и язвительно гоготали, обращая победу свою в шутовство.

Журналы взбесились, как псы, которым повод с цепи сорваться нашёлся. Поспешные листы запестрели то грубой, то изысканной бранью, однако и журналы не вмещали всего, чем кипели взаимно оскорблённые души. Из уст в уста передавались колкие эпиграммы, непристойные каламбуры и грязные сплетни, слишком сильные, чтобы решиться в печать.

В «Сыне отечества» поместил юный Дашков «Письмо к новейшему Аристофану», в котором в прах повергал Шаховского. Князь Вяземский, ленивый мастер жалящих экспромтов, произнёс эпиграмму, намекая на «Расхищенные шубы», поэмку пера Шаховского:

С какою лёгкостью свободной
Играешь ты природой и собой,
Ты в шубах Шутовской холодный,
В водах ты Шутовской сухой.

В доме Уварова на Малой Морской, в пылающей огнями громадной библиотеке, за длиннейшим столом, на котором разместили большую чернильницу, бумагу и перья, собрались Александр Тургенев, Жуковский, Дашков, Жихарев, Блудов⁶⁵. Блудов ознакомил собравшихся с «Видением в какой-то оgrade», в котором любители российской словесности, отчего-то обыватели Арзамаса⁶⁶, на одном из вечерних собраний слышали в соседней комнате странный, подозрительный шорох. Оказалось, это бродил Шаховской в магнетическом сне, повествуя шаржированными старинными словесами, как в бурную ночь он остановился под окнами опустевшего дома Державина и разные чудеса в них узрел, затем Шаховской исповедовался в своих тайных, однако прискорбных грехах.

Ознакомлен с «Видением», Уваров внёс предложение создать «Арзамасское общество безвестных людей», прямо направленное против замшелой «Беседы любителей русского слова». Положили для чего-то взять себе прозвища по балладам Жуковского и обязали всякого, кто захотится вступить в «Арзамас», в похвальной издевательской речи отпевать кого-нибудь из заклятых беседчиков.

Известившись о совершенном откровенном кощунстве, всполошилась «Беседа». Внезапно объявившийся в литературе Загоскин, ополченец недавний, бывший под Данцигом, простодушный до крайности, однако же вспыльчивый, неумный, но добрый, в защиту Шаховского пристроил на сцене «Комедию против комедии, или Урок волокитам», написанную почти так

⁶⁵ ...собрались Александр Тургенев, Жуковский, Дашков, Жихарев, Блудов – основатели литературного общества «Арзамас»: Александр Иванович Тургенев (1784-1845) – историк и литератор, Василий Андреевич Жуковский (1783-1852) – поэт, Дмитрий Васильевич Дашков (1788-1839) – чиновник Коллегии иностранных дел, Степан Петрович Жихарев (1788-1860) – переводчик, театрал, чиновник Коллегии иностранных дел, московский губернский прокурор (1823-1827), Дмитрий Николаевич Блудов (1785-1864) – граф, государственный деятель.

⁶⁶ ...отчего-то обыватели Арзамаса... – Само название «Арзамас» возникло благодаря шутивно-пародийному произведению Д. Н. Блудова «Видение в какой-то оgrade» об арзамасских любителях словесности.

же легко и свободно, как писал Шаховской, в которой отдубасил многих противников, в том числе Фольгина, сценический псевдоним остроязычного и злобного Вигеля.

Он был поражён, наблюдая столпотворенье умов, ещё незнакомый с истребительными литературными нравами. На его вкус, комедийка Шаховского была довольно пуста, хотя и блестяща, а хулители Шаховского слишком ребята и глупы. Её прелесть он находил в одной злободневности, без которой театр не театр, тогда как достойным таланта почитал он только трагедии, в образец себе взявши эллинов, а комедии так, вздор и проба пера, так что остервенелая брань, по его представлениям, чересчур далеко зашла за границы пристойности. К тому же брань затянулась и оттого сбивалась на фарс. Он тоже мимоходом пустил эпиграмму. Она насмешила Катенина. Шутки ради они отправили Гречу громадный пакет, предварительно дав наставления денщику.

Греч день спустя тиснул в «Сыне отечества» немилосердно растянутый фельетон, переполненный однообразным его остроумием:

«Наслышавшись об этой комедии очень много, я хотел было... порядочно разобраться... и начал: «Сия комедия...» Вдруг раздался за мной громкий, грозный голос: «Здравия желаю!» Хотя я журналист, следственно, человек полувоенный, но, признаюсь, вздрогнул от неожиданного приветствия, оборотился и увидел вошедшего в комнату гренадера, вершков двенадцати, в пяти медалях. Он держал в руке большой пакет...»

Далее между фельетонистом и гренадером, то есть Катенина денщиком, произошёл диалог:

– К вам, сударь!

– От кого?

– Не велено сказывать.

– Кто же бы это?

– Командеры!

Тут гренадер подал книгу:

– Извольте расписаться.

Далее Греч продолжал:

«Нечего было делать. Я взял послание «К «Сыну отечества» и расписался, вестовой гренадер обернулся направо кругом, топнул и вышел...»

Греч распечатал пакет и нашёл там от самого Аполлона приказ:

На замечанье Феб даёт,
Что от каких-то вод
Парнасский весь народ
Шумит, кричит и дело забывает,
И потому он объявляет,
Что толки все о Липецких водах
(В укору, в похвалу, и в прозе, и в стихах)
Написаны и преданы тиснению
Не по его внушенью!

Гречу оставалось только вздохнуть:

«Что прикажете писать после этого...»

Тем временем получил он отставку. На беду его, по обязанности, об ней возвестили газеты. Узнавши об новом своеволии любезного чада, матушка, впадши, по обыкновению, в гнев, задержала высылку денег, почитая голод вернейшим источником благоразумия. Ещё на беду, отказался он перед тем от части небольшого наследства, которая следовала ему после

смерти Сергея Ивановича Грибоедова, не находя на неё за собой никакого сыновьего права, и передал её сестре Маше, и без того засидевшейся с малым приданым в девицах.

Он вдруг оказался без средств. В те же дни Степан испросил себе длительный отпуск и отправился в родовую деревню, найдя нужным позаняться винным заводом, приходившим в расстройство. Большая квартира Степана оказалась не по карману. Он снял тесную комнатку на одной лестнице с Шаховским в Офицерской, в небольшом деревянном доме Лэфебра, что против дома Голидия, обиталища многих бедных артистов и служителей театральной дирекции.

Безденежье и свобода произвели на него необычайное действие. Совместными усилиями они точно толкали его веселиться. Он повсюду бывал. Шаховской таскал его в заседания «Беседы любителей русского слова», оживившейся и крепшей после войны, гордившейся тем, что остерегала с невиданной прозорливостью против неблагоприятного поклонения коварной и распутной Европе. Ныне она защищала против засилья бездушного французского языка чистопородное и непорочное русское слово, на том основании, что Россия этой распутной Европе, обратившей в пепел и в кострище древнюю нашу святыню, своей многой кровью воротила свободу.

Заседания совершались в доме Державина на Фонтанке, в великолепной, обширной, освещённой пламенно зале, с виду походившей на храм. Середину залы занимали столы, за которыми помещались постоянные члены «Беседы». Чуть поодаль были расставлены удобные кресла для почётных и почтенных гостей. Прочим посетителям, выпускаемым по билетам, предназначались обыкновенные стулья, расставленные в три уступа у стен. Декорации расставлял Шаховской, чрезвычайный обожатель сильных эффектов. Шаховской же для пушного блеска собраний придумал правило появляться всем дамам только в белоснежных нарядах, статс-дамам в портретах, вельможам и генералам в лентах и при звёздах, всем прочим в парадных мундирах, так что, кажется, один только он, приятель и гость Шаховского, отставленный недавно корнет, губернский секретарь, не состоящий на службе, был в чёрном фраке, даже у толстейшего Шаховского отыскался мундир с замысловатым шитьём театрального ведомства.

В подражание Государственному совету, «Беседа» разделялась на четыре разряда. Во главе каждого восседал председатель, в подмогу председателю имелся ещё попечитель. На посту попечителей пребывали граф Завадовский и Мордвинов, министр народного просвещения Разумовский и министр юстиции Дмитриев. Немалое число поэтов, истинных поклонников старины, приняты были в члены и в члены-сотрудники. Посреди этого роя теснился вечно сонный и мудрый Крылов.

Впрочем, разряды не имели никакого значения для предмета бесед, и места за столом занимались не по огромности и блеску таланта, а по установленным государем чинам, что за рабская страсть, в семье поэтов постыдная, непозволительная!

Между тем в своём чёрном фраке, не имея достоинств, уселся он в кресле почётных гостей, о чём похлопотал для него Шаховской, поспевавший повсюду, и, сделавши вид, что превратился весь в слух, поглядывал изредка по сторонам, то прямо в очки, то обок очков.

Чтение тянулось что-то уж слишком томительно долго, часов около трёх. Главная мысль сводилась как будто к тому, что торжеству российской словесности должно предшествовать торжество твёрдой веры в самобытность и в несокрушимую силу России, однако ж излагалась она такими запутанными, такими тяжеловесными фразами, что улавливалась настолько предположительно и с таким величайшим трудом, что он чуть не вспотел, да, слава Богу, оратор закруглил-таки речь.

Всё же, по его наблюдению, ни продолжительность, ни тяжеловесность, ни запутанность речи решительно никого не смутили. По холодным торжественным лицам сановников невозможно было прочесть, слушали или не слушали это хитроумное толкование процесса созида-

ния несомненных шедевров приглашённые генералы и светские дамы, но было видать, что они не скучали, а с твёрдостью духа отправляли свой патриотический долг.

Наконец, обречённо вздохнув, поднялся Крылов, в затрапезном обширном своём сюртуке, в высочайшем жабо, испещрённом жирными пятнами подливок и соусов, этими явственными следами многих гастрономических утешений, с величественной тяжёлой большой головой, с небрежно приглаженными серебристыми волосами, с отвислыми, жирными, далеко не старческими щеками, с большим, серьёзным, правильным ртом, с ленивым, почти апатичным выражением на лице, сквозь которое едва пробивались юмор и ум, с неподвижным взглядом из-под полуопущенных век, неуклюжий и толстый, медведь и медведь, и стал неторопливо, нет, не читать, а рассказывать, натурально, непринуждённо и внятно, голосом напирая слегка, обозначая лишь ударением смысл, наивно вначале сказав:

– «Мирская сходка», это заглавие, вот в чём состоит.

Помолчал, точно раздумывал, стоит ли продолжать, и пошёл:

Какой порядок ни затей,
Но если он в руках бессовестных людей,
Они всегда найдут уловку,
Чтоб сделать там, где им захочется, сноровку.
В овечьи старосты у льва просился волк,
Стараньем кумушки-лисицы
Словцо о нём замолвлено у львицы,
Но так как о волках худой на свете толк,
И не сказали бы, что смотрит лев на лица,
То велено звериный весь народ
Созвать на общий сход
И расспросить того, другого,
Что в волке доброго он знает иль дурного.
Исполнен и приказ: все звери созваны,
На сходке голоса чин чином собраны;
Но против волка нет ни слова,
И волка велено в овчарню посадить.
Да что же овцы говорили?
На сходке ведь они уж, верно, были?
Вот то-то нет! Овец-то и забыли!
А их-то бы всего нужней спросить.

Шаховской, чрезвычайно довольный, сияющий, с искрами в бесовски прижмуренных глазках, придерживая его за плечо, когда они выходили, принагнувшись к нему, насколько позволяла статура, залиvisto сетовал в самое ухо:

– Ах, жалко-то, жалко-то как, не удалось показать старика, простуда, недомогание лёгкое, а всё-таки, всё-таки лучше дома денька два посидеть, вот уж после я его тебе покажу, всенепременнейше, да и лучше, что так, его надобно дома, дома глядеть, я уж к тебе забегу, и съездим, честное слово, съездим к нему, вот увидишь ты русское чудо!

В самом деле прибежал через несколько дней весь в поту, отдуваясь, обтирая огромным платком мокрый лоб, и с шумом произносил:

– Ну, собирайся, здоров, я ему про тебя насказал!

Сам немного взволнованный, желая видеть слишком известного автора вызвавшего столько ядовитых нареканий трактата о слоге старинном и новом⁶⁷, который с любопытством и одобрением, впрочем, далеко не со всеми выкладками ума соглашаясь, читал ещё в пансионские годы и с которого, можно сказать, началось его увлечение российской высокой поэзией прошедшего славного века и тогдашним возвышенным выразительным словом, не в силах не посмеяться над Шаховским, стоявшим перед ним с таким важным ликом сатира, он состроил растерянное лицо и громко прерывисто прошептал:

– Так это надо во фраке, а, не иначе?

Подскочив, как ужаленный, Шаховской замахал возмущённо толстыми ручками и пискливым голосом серьёзно запричитал:

– Полно, полно тебе! Довольно и сертука! К нему можно запросто, это, брат, такой человек, такой человек, вот сам увидишь, честное слово, тьфу ему фрак, да и только!

Подшучивая над бурными восхваленьями Шаховского, он по дороге предложил прогуляться, будто бы для того, чтобы поприйти немного в себя, и Шаховской, с выставленным вперёд большим животом, старательно семеня рядом с ним, держа его под руку цепко, оскальзываясь, бормоча извинения, восторженно говоря:

– Человек он доброты и кротости необычайной! Уж на что государь Павел Петрович бывал вспыльчив и строг непомерно, а и тот Александра Семёныча любил и произвёл в генерал-адъютанты. Обставилась его служба гораздо смешно, по правде сказать, весь двор над горемычным потешался зело. В самом деле, в обязанность генерал-адъютанта входит, во время дежурства, сопровождать государя верхом, да Александр-то Семёныч, смолоду в морской службе служа, к лошади не ведаёт, с какой стороны подойти. Вот при дворе первого-то дежурства и ждут: вот, мол, знатная начнётся потеха! Да у Александра Семёныча характер открытый, прямой и, главнейшее дело, бесстрашный, точно у древнего римлянина, правду тебе говорю, не кривись! Вот, послушай-ка сам: дежурство случилось. Павел Петрович собирается выезжать. Александру Семёнычу, как водится, подводят лихого коня и уж поджидают втихомолку скандала, ан нет: со всей искренностью, присущей ему от рождения, Александр Семёныч громко так говорит государю, заметь, при всех говорит, решительно никем не смущаясь, что верхом отродясь не ездил, что лошадей даже с самого детства боится и что просит всемилостиво уволить его от такого конфузу. И вот что значит это истинно русское простодушие и русская прямота! Ими иные крепости берутся гораздо скорее, чем европейским бесстыдным нахальством! Ведь Павел-то Петрович, помнишь ли, какой был монарх? Ведь это гром был небесный на троне, и только, как помягче-то и не ведаю свелечать, ведь многие офицеры в те грозные годы, выходя на дежурство, хоронили за пазуху все наличные деньги, на случай чего, коль пошлют из дворца прямым походом в Сибирь, каково приключалось пять раз на дню, так чтобы походом переть при деньгах! Понятно, все так и обмерли, заслуша бесстрашные речи Александра Семёныча: ну, думают, сапогами затопает, заорёт благим матом, как пускался всегда, когда поперечат ему, и скомандует марш, да так прямёхонько из дворца в дальний край, к волкам да к медведям, в Камчатку, только генерал-адъютанта и видели. И ведь ничего, даже прямо напротив, после такого признания Александр Семёныч в большую милость вошёл, был пожалован помещышком в триста, кажется, душ, ничегошеньки до той поры не имея, жалованьем единственно обходясь.

Шаховской залиvistо засмеялся и встал, выпустив его локоть на волю и присев на решётку канала:

⁶⁷ ...автора... трактата о слоге старинном и новом... – Речь идёт об Александре Семёновиче Шишкове (1754-1841) – писателе, государственном деятеле, убеждённом консерваторе, главе литературного общества «Беседа любителей русского слова» (1811-1816). Его книги «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» (1803) и «Прибавление к рассуждению о старом и новом слоге российского языка» (1804), в которых Шишков ориентировал литературу на старославянский язык, вызвали острую полемику.

– Александр Сергеич, дорогой, дай, голубчик, вздохнуть, задохся совсем.

Отхаркнулся звучно, с сердцем плюнул несколько раз и во всё горло захохотал пискливым бубенчиком:

– А с поместьишком-то приключилась такая история, что рассказать, не поверит никто, как есть водевиль, хотя отчего же не поверить и в водевиль? То ли ещё приключается на святой-то Руси!

Несколько раз вздохнул глубоко, сияя жирным лицом, озорно прижмуривая умные глазки, поднялся и двинулся дальше, вновь ухватив его под руку, весело говоря:

– Александр-то Семёныч, великий, я тебе говорю, человек, как проживал своим скудным достатком, так до сей поры и живёт, а с поместьишка своего не берёт ни копейки, чужак человек. Многие из мужиков на заработках в Петербурге живут, ну, известное дело, барин есть барин, приходят к нему на поклон, подают ему в шапке, что следует согласно закону, а он ласково эдак мужику изъясняет, что деньги, вишь, не его, так что не заработаны им за труды, потому и взять он этих денег не может никак. Мужики дивятся, рассказывают, возвращаясь домой на побывку, так, мол, и так, барин чудной, никакого не знает порядку, вот что нам говорит, односельники слушают и приходят в смущение: как это так, на то и барин, чтобы, значит, деревенькой кормиться. И вот тебе поразительнейшая черта. Нынче из молодых людей кое-кто полагает, особливо из офицерства, кои побывали в Париже и на европейские порядки приглянули вблизи, что русские-то крестьяне, подобно французским, спят и видят освобождение. Ты-то, признайся-ка, не из них? А Россию-то европейским аршином не надобно мерить, ох бы, не надо! Иной у нас, согласись, выходит аршин, беды бы не наделать с чужим. Представь: год случился неурожайный, в Питере сделалась большая дороговизна во всё, жмутся все, а на жалованье-то одно какво? И в урожай туговато, об чём говорить. Вот как-то поутру и докладывают Александру Семёнычу, так, мол, и так, мужички ваши прибыли и желают с вами поговорить. Известное дело, Александр Семёныч всегда за работой, оторваться не захотел, пусть к барыне идут, говорит. Те ни в какую. Ну, так и быть, сам посуди, нашёлся принуждённым выйти в переднюю. Мужики, известное дело, шапки долой, в ноги поклон и вещают, что, мол, на сходке мирской положили им, выборным, идти к барину в Питер и доложить ему, стало быть, что выборные они, а сказать постановлено так: «Оброку ты с нас не берёшь уже десять лет, а живёшь одним государевым жалованьем, а дороговизна страсть нынче на всё, сам посуди, и жить с семейством, известное дело, трудненько тебе, так не угодно ли тебе положить на нас за прошедшие годы рублёв хоть по тысячке, а впредь станем платить какой сам положишь оброк, а мы, по твоей милости, слава Богу, живём не бедно и от оброку не разоримся никак». Вот тебе и «Путешествие из Петербурга в Москву»! Каково? Небось мне не веришь? Оно, натурально, и у нас такое не часто случается, да случается всё ж, и где ещё может случиться, как опять не у нас? Да Бог с ним со всем! Александр Семёныч, такие-то речи слыша, в неопределённое пришёл восхищение, от чего бы ты думал? Не угадаешь, чем хочешь клянусь! Хочешь, моей головой? А в восхищение он пришёл не от благороднейшего поступка своих мужиков, а от говора их, похожего на язык грамот наших старинных, как он уверял, и тотчас к себе в кабинет и слово от слова всё записал. Тотчас позвал кое-кого, прочитал, да вы, говорит, верно, не поверите мне, тотчас призвал мужиков и повелел всё прежде сказанное повторить. Те повторили. Тут Александр Семёныч приказал их как следует накормить, обещавши дать им для сходки письмо и отпустить восвояси домой. Ну, письмо написал, в котором благодарил мир за усердие, сообщая своим мужикам, что он, по милости государевой, надобности в деньгах никакой не имеет, обещаясь честным словом своим, что, случись надобность, что ни у кого, кроме как у своих мужиков, тогда не попросит. Выборных одарили, облобызали и отпустили с этим письмом. Мордвинов, узнавши историю, ему попенял: «Почему бы не положить, говорит, хотя самый лёгкий оброк, ничего не значащий для крестьян, когда сам нуждаешься нередко в деньгах и частенько свободного рубля не имеешь, чтобы бедному человеку помочь? Да и за

что же другие работают на господина или платят оброк, или двойные подушные, как положено на казённых крестьян, а эти не делают ничего? Это несправедливо, это может ропот между соседями произвести». Александр Семёныч выслушал эти и прочие речи, да по-прежнему всё и оставил. Вот он каков человек! А ты, голубчик, вовсе меня затаскал, сил моих больше нет. Изволь-ка кликнуть извозчика, хотя недалече, да пеше идти сил моих нет никаких.

Они взобрались в промёрзлые санки, и Шаховской, взбудораженный по обычаю, спокойным ни быв минуты с рожденья, занимая две трети скамейки, беспрестанно вертясь, прикрывая муфтой лицо, визгливым голосом продолжал:

– Предупеждаю тебя, не дивись, Александр Семёныч зело странен во всём. Да и правду сказать, как не быть ему странным. Обыкновенно поднимается часов в семь зимой, а летом и в шесть, из спальни напрямик отправляется в кабинет и, кроме двух присутственных дней в адмиралтейском совете, не выходит оттуда до половины четвёртого, если обедает дома, после обеда дремлет немного, сидя в креслах в своём кабинете, потом ещё почитает немного и отправляется в клуб, где играет и выигрывает почти всякий день непременно. Стало быть, трудится в сутки часов по восьми и исписал уже преогромные кипы. Ну, по этой причине и рассеян ужасно. Тьма историй ходит об нём. Вот для примера одна. Раз отправился он обедать к Бакуниным, всё честь по чести, в полном параде, в мундире и в ленте, старший сын у Бакуниных был именинник, он же старинные обычаи чтит, да минут через двадцать вдруг воротился назад. Дарья Алексевна тотчас всполошилась, что с тобой, мой друг, говорит. «Вообрази, – отвечает, – приезжаю, а они почти отобедали и назвали таких гостей, с которыми я даже не кланяюсь. Дай-ка поесть что-нибудь». Дарья Алексевна приказала подать, а сама говорит: «Это какой-то вздор у тебя, не могли Бакунины назвать вместе с тобой таких людей, которые терпеть не могут тебя». Он за стол, она к кучеру в розыск. Что же известилось под следствием? А вот оно что: в карету садясь, Александр Семёныч ехать приказал к Воронцовым, у которых отродясь не бывал, ничего не примечая, вступил в переднюю к ним, где официант доложил, что господа почти что откушали и скоро встанут из-за стола. Александр Семёныч удивился, что не подождали его, стал выпрашивать, кто ещё зван. Официант перечислил поимённо гостей. Александр Семёныч пуще прежнего удивился и тотчас уехал домой. «Да как в голову тебе взошли Воронцовы?» – «Да чёрт знает как, я об них и не думал». Надо знать, что визит нанесён был в самое неподходящее время. Воронцов, англоман, был его ожесточённый противник, известный тесной дружбой с французским посланником, а французский посланник только что перед тем, дело-то вышло перед войной, жаловался самому государю на его оскорбительные выходки против мирных французов. Естественно, внезапное посещение Александра Семёныча получило значение особое. Воронцов вообразил, что тот приезжал для каких-нибудь объяснений и счёл долгом на другой день отдать ему тоже визит. Естественно, презабавное случилось свидание, впрочем, удовлетворительно всё разъяснившее. Долго спустя потешались над ним. Это я тебе к тому говорю, что язык у тебя довольно остёр, так уж ты, коли что, пощади старика, не острись, голубчик, нехорошо.

Он обещал пощадить.

Наконец они повернули с Литейной. Переулок именовался Форштатским. В переулке, насупротив кирпичи, стоял небольшой, окон в восемь, зелёный каменный дом. Они въехали под ворота, очутились в тесном дворе, по узкой, тёмной, нечистой лестнице взобрались наверх и сбросили шубы в сенях. Шаховской, не спросив о хозяине, не приказав доложить старому седому лакею в ужаснейших бакенбардах, похожих на гнезда ворон, хоть картину, право, пиши, мирно дремавшему на большом сундуке, с рукописями, шепнул Шаховской, прямо через столовую провёл его в кабинет.

Кабинетик был маленький, голубой, с двумя окошками в переулок, между ними помещался громаднейший письменный стол, загромождённый исписанными бумагами и раскрытыми книгами. Посередине возвышалась большая стеклянная банка, наполненная, к его удив-

лению, разнообразными шариками, слепленными из воска. Один подоконник заставлен был банками с сухим малороссийским вареньем. Возле второго стоял седой худощавый сутулый старик, с поразительно бледным лицом, с голой жилистой шеей, в подпоясанном шёлковом полосатом шлафроке, в кожаных спальных истасканных сапогах. В нижнем стекле была проделана самодельная форточка. Она была настежь раскрыта, пуская клубами мороз. Сизые голуби и воробьи тёмными комками прыгали с той стороны. Старик, что-то ласково бормоча, ничего не замечая вокруг, бросал им ячменные зёрна из глиняной миски, неотрывно глядя на быстрые птичьи головки, прислушиваясь к странной музыке их крепких носов, жадно клевавших зерно.

Шаховской, с почтением, к его удивлению, на мясистом, часто скоморошьем лице, несколько вытянувшись, кажется, даже подобравши живот, громко, но сдержанно проговорил:

– Желаем здравствовать, ваше высокопревосходительство.

Старик не вдруг обернулся, бросил своим пернатым питомцам ещё горсть зерна и, держа миску в руках, с сухим серьёзным лицом, сурово взглядывая карими глазами из-под седых щетинистых навислых бровей, приветливо отозвался:

– Храни вас Господь, а я рад, молодой человек, что не погнушались пожаловать ко мне, старику. Прошу вас, извольте садиться.

Они тотчас сели на тяжёлые стулья с прямыми высокими спинками.

Разглядывая костистого старика, легко шагнувшего к креслу, точно ожидавшему хозяина своего, как верный пёс, стоящему боком к письменному столу, удивляясь, что в походке и движениях не замечалось ничего стариковского, а во всём облике только эти густые серебристые волосы, он не робел, не смущался, веря самолюбиво, что не ударит в грязь перед любым собеседником, но молчал, наблюдая за ним, ожидая, когда тот сам начнёт разговор.

Шаховской, с трудом поместившись на стуле, вздохнул, вертел головой и пожимался от холода, тянувшего из отворенной форточки, которую старик то ли нарочно оставил открытой, привыкнув к свежему воздуху своего кабинета, то ли по рассеянности позабыл притворить.

Старик сел без изыщества, но легко, запахнул одной рукой полы шлафрока, держа миску в другой, вдруг расцвёл одушевлённой улыбкой и заговорил горячо:

– Мне Александр Александрович добро говорил об тебе, что ты сочиняешь пиесы и отдаёшь ему на театр. Я твоих пиес не видал, прошу мне простить прегрешенье, однако не вот что спрошу: не рано ли изволишь предавать юный труд свой публичности?

Поражённый, что этот незнакомый ему человек с первого слова сказал ему именно то, о чём он с тайным мучением сам размышлял, он согласился:

– Вы правы, должно быть, все пустяки, пока что далеко до истинных мастеров.

Глаза Шишкова вспыхнули, оживились и расцвели.

– Вот то-то, а я рад, что ты не гордец, как из нынешних многие, всё спешат, всё спешат. Невежество, увы, процветает под пышной внешностью нововведений. Погрешности нечувствительно закрадываются в наш природный язык, искажая оный, потрясая коренные его основания. Таким образом, предъяви мне образец твоего языка, и я скажу тебе, кто ты таков есть.

Он смешался, стыдясь заговорить в этих стенах о своей салонной комедии, а Шаховской, не взглянув на него, почтительно продекламировал из середины, точно заранее обдумал и приготовил куплет:

По справедливости, три месяца – три века!..
С Эльмирой можно близ тенистого просека,
Под свесом липовым, на бархатном лужку
Любиться, нежиться, как надо пастушку,
И таять весь свой век в безмолвьи неразлучно.
Всё это весело в стихах, а впрочем, скучно.

Шишков, то ли не слушая, то ли решив снисходительно неодобрение утаить про себя, с пламенем в небольших оживлённых глазах, с приятной простодушной улыбкой, увлечённо продолжал о своём, точно умолкал на минутку, поглубже вздохнуть:

– Худой писатель, но неуклонившийся от свойств языка своего, не столько вреден, как тот, который, хотя некоторые дарования в натуре имеет, но, подстрекаемый самолюбием, возносится выше сведений своих и, прежде чем познает законы изобретения, начнёт изобретать и законодательствовать в искусстве. Писатели сии тем опаснее, что всякая новость приманчива и до тех пор нравится нам, покуда лучи рассудка, часто поздно весьма воссиявшие, не осветят её нелепости. Таким образом, усидчивое изучение законов изящного должно предшествовать перу новобранца. А нововведения, спросишь меня? Известно, без нововведений не движется ничего, но только сперва научившись ступать след в след за великими. Ибо ошибаются и великие. При всём своём превосходстве стих Державина «Я царь – я раб, я червь – я Бог»⁶⁸ имел бы более правильности и постепенности, когда бы, начальные два слова переставя, сказать: «Я раб – я царь, я червь – я Бог». Но и на ошибках великих мы научаемся.

Он очарован был тонкостью этого верного замечания, которое показывало ему, как глубоко проникал Шишков в дух языка поэтического, впрочем, с пренебрежением к звуку стиха, изломанному этой перестановкой, а Шаховской, всё более ёжась, почти жалобно попросил:

– Дозвольте, Александр Семёныч, форточку-то прикрыть, дует ужасно, как бы нам не простыть.

Шишков, согласно кивнув, однако ж не взглянул на него, что, мол, за вздор:

– Прикрой, голубчик, прикрой.

И, не дожидаясь, пока Шаховской со своей неповоротливой толстой статурой доберётся до форточки и снова займёт своё место на стуле, уже сверкая глазами, подхваченный на крыло вдохновения, продолжал:

– Между тем российский язык неискусными сочинителями начал приметным образом портиться. Молодые неопытные писатели себя возмечтали установителями и законодателями нового языка, которого изящество и красота, по заблуждению их, долженствует состоять в том, чтобы, отвергая все издревле употребительные слова и выражения, наполнять новые писания своими словами и оборотами, почерпнутыми или из слова в слово взятыми с языков иноземных, с французского всего более.

Взмахнул чашкой, затряс головой:

– Богатство и плавность употребляемого ныне наречия вздумали они основать на истреблении славянского языка, не рассуждая об том, что таковое безрассудное мнение похоже на то, как бы кто для сделания потока многоводным восхотел заграждать источники оною. Отсюда важность и достоинство слова начали исчезать, язык Ломоносова стал поставляться в пример ветхости, и на место оною явилось новое, смешанное из высокого с низким, испещрённое чужезычными оборотами, безобразное и часто невразумительное наречие.

Сморщился точно от боли, чуть не заплакал:

– Сенеки искажали латинский язык⁶⁹, но Квинтилианы его поправляли. Наши Сенеки могли говорить и писать что хотели, им не противуречил никто. Следы языка и дух чудовищной Французской революции, доселе нам неизвестные, мало-помалу, но прибавляя час от часу успехи свои, начали появляться и в наших писаниях. Презрение к вере стало оказываться в презрении к языку славянскому. Здравое понятие о словесности и красноречии превратилось в легкомысленное и ложное: сила души, высота мыслей, приличие слов, чистота нравственно-

⁶⁸ Я царь – я раб, я червь – я Бог... – стихотворение Г. Р. Державина «Бог» (1784).

⁶⁹ Сенеки искажали латинский язык, но Квинтилианы его поправляли. – Сенека (ок. 4 до н.-э. – 65 н. э.) – римский философ, писатель. Квинтилиан (ок. 35 – ок. 96) – римский оратор и теоретик ораторского искусства.

сти, основательность и зрелость рассудка – всё сие приносилось в жертву какой-то лёгкости слога, не требующей ни ума, ни познаний.

Расширил глаза, точно в толк не мог взять, из какого источника проистекла сия глупость.

– Сколь ни странны были таковые правила, во всех веках и народах всеми истинными учёными и благомыслящими людьми отвергаемые, однако ж оные под разными соблазнительными видами во многие неопытные умы вкрались и укоренились, ибо ничьего нет приманчивее, как думать, что можно быть писателем и знатоком в словесности без всякого иного труда, кроме обыкновенного обращения в обществах и прочтения нескольких романов или мелких стихотворений. По несчастию, некоторые люди с талантами подали таковыми умствованиями пример бесталанным к подражанию им и к размножению малых погрешностей их в величайшие.

Остановился, точно одёрнул себя, осудил за нападки на ближних, помягчел, посветлел:

– Видя таковое словесности нашей падение и почитая за некоторое ощущение обязанности русского человека терпеть зло и не обращать всех своих сил к воспящению оною, издал я книгу под заглавием «Рассуждение о старом и новом слоге», в которой по возможности старался, через сличение старого языка нашего с сим новым, показать, сколь один из них прекрасен и богат мыслями, а другой, напротив, тощ разумом и безобразен.

Пожевал губами, покачал головой:

– Но, как сказано у Лагарпа, обманывать людей «можно и с малым умом, но просвещать их трудно и с большим, то и сочинение моё было не иное что, как малая капля воды к потушению большого пожара. Однако ж капля по капле наберём довольно воды и потушим пожар.

С недоумением поглядел на чашку, которая всё это время продолжала оставаться в его всё ещё крепкой руке, Шишков, поворотившись к столу, сунул её под бумаги, схватил раскрытую книгу и с новым восторгом провозгласил:

– Вот, в ожидании вас, «Петра Великого» перечитывал⁷⁰, сию поэму, в которой нахожу такие красоты, каких немного, осмелюсь думать, и у Державина, да и у самого Ломоносова тоже.

Отставив книгу подальше от глаз, даже голову откинув немного назад, Шишков радостно и выразительно стал читать, выставляя голосом эти красоты:

– Вот, извольте, уже в посвящении обратите своё особенное внимание на эти слова:

Из чаши лавровой, цветущей при Полтаве,
Гордящейся Петром, восходит к небесам
Бессмертный памятник его бессмертной славе.
Кто чтит достоинство, достопочтен и сам.

Вскинул голову, обвёл слушателей сияющими глазами:

– Какое великолепие! Какая красота! Какое знание русского языка! Вот что значит, когда стихотворец книг Священного Писания с пользой для себя начитался! А между тем при следующих стихах:

Не сломят веки, ни стихии,
Ни ковы всех наземных бед, –

⁷⁰ «Петра Великого» перечитывал... – «Пётр Великий. Лирическое песнопение в восьми песнях» (1810) – поэма Сергея Александровича Ширинского-Шихматова, поэта, члена «Беседы любителей русского слова». Его стихи подвергались осмеянию в эпиграммах Пушкина, Вяземского, Батюшкова.

сейчас остановятся и скажут: «Что это за «наземные беды»? Уж не навозные ли?» Подумают, что это слово выдуманно Шихматовым, но это неправда, оно точно в этом смысле употреблено в Священном Писании.

Откинувшись на высоком стуле назад, сложивши руки крестом, припрятав подальше усмешку, естественную, но здесь неуместную, он неотступно следил, как Шишков, серьёзный и побледневший от восторга поэзии, наслаждался каждой вспышкой её, каждым проблеском поэтического стиха, казалось, готовый передавать своё восхищение с неубывающей увлечённостью и декламировать до позднего вечера:

– Ну, что может быть превосходнее этих вот, например, выражений:

Не терпит сердце немоты,
Приди, витийство простоты,
И смелость мне вдохни, природа!

Или вот, например:

Как зимний день белеют мраки,
И утро с розовым лицом,
Гоня зловидные призраки,
Блистая златом, багрецом,
Дыша живительной прохладой,
Белит и горы и поля.
Сребром усыпана земля,
Всеместной полнится отрадой,
Настал приятный первый шум,
Преторглась цепь ночного плена,
И путник, преклонив колена,
Вперил к востоку взор и ум.
Се солнце, искра славы Бога,
Из бездн исходит, как жених
Младый от брачного чертога.

Засмеялся тихонько, точно был один сам с собой:

– Красоты это всё первоклассные, или заимствованные из книг Священного Писания, или составленные по их духу. Да покажите мне, много ли таких красот найдётся у наших нынешних знаменитых писателей?

Всякий искренний восторг его увлекал, он сам пленялся нашей возвышенной, возвышающей стариной, а Священное Писание никогда не сходило у него со стола, и у нынешних знаменитых писателей, великолепных творцов жанра лёгкого, всех этих слезливых элегий, посланий приятелю, буримэ на французский манер и язвительных эпиграмм, до которых, впрочем, сам был ужасный охотник, он тоже не видывал такого рода красот, однако ж в восторгах седовласого старца слышалось что-то слишком наивное, детское, не все красоты стихотворческого витийства, умилявшие чуть не до слёз изруганного противниками ревностного вождя староверов; восхищали его, и на этот риторический, но всё же весьма неосторожный запрос он было хотел лукаво ответить стихами ещё молодого, но уже снискавшего славу поэта, которого сам Державин благословил занять своё, так недавно опустевшее место:

Навис покров угрюмой ночи
На своде дремлющих небес;

В безмолвной тиши не почили дол и рощи,
В седом тумане дальний лес;
Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы,
Чуть дышит ветерок, уснувший на листьях,
И тихая луна, как лебедь величавый,
Плывёт в серебристых облаках, – ⁷¹

чуть вновь не вскрикнув от этого уснувшего в листьях ветерка, да Шишков, разгорячаясь всё более, с пунцовым румянцем на бледных щеках, уже с росинками слёз, срывавшимся от волнения голосом продолжал, и было неловко разрушать его вдохновение, пусть умиляется, на то и старик, не спорить же с ним:

– А вот попадается слово, которого значение не поймут, в стихе, например:

Богатств дражайшие дары, –

и станут смеяться: «Дражайший дар», как уморительно смешно!» А ничего смешного тут нет. Дражайший означает драгоценнейший, это превосходная степень, а потому этот стих означает дары, которые драгоценнее богатств. Наперёд знаю, что наши безграмотные журналисты подымут на смех и эти следующие превосходные стихи, красоты выражения которых все почерпнуты из Священного Писания:

И к смерти прилагают смерть.

или:

От скал сложенные громады.

Пожалуй, иной литератор подумает, что «от» поставлено ошибкой вместо «из», однако же это совершенно не так. А вот:

Пасутся соностию трав, –

и несчётное множество тому подобных превосходных выражений. И немудрено, они не смыслят корня русского языка! А далее:

Утеха взору и гортани,
Висят червлёные плоды.

Как хороши эти два чудных стиха! Это прелесть, а пожалуй, и не поймут здесь слово «червлёные» и подумают, что это «червивые». А вот Шихматов говорит, что весенние ветерки:

На воздух рассыпают сладость,
Окрав душистые шипки, –

и это превосходно, но большая часть читателей и не поймут слов «окрав» и «шипки», а между тем, какое живописное изображение, что ветерки, пролетая по цветам, похищают, скрадывают их душистые, распускающиеся шипки, то есть цветочные распуколки, и таким

⁷¹ *Навис покров угрюмой ночи...* – А. С. Пушкин, «Воспоминания в Царском Селе» (1814).

образом наполняют сладостным благовонием воздух. Ну-тка, послушайте, какое великолепное описание кораблестроения:

Туда, по воле человека,
Корнисты севера сыны,
Надменны долготою века,
Стеклись с кремнистой вышины,
И там искусством искривлении,
Да с бурями воют вновь...

Последний стих до того многозначителен, что я равного ему не знаю. Я так же ничего не знаю лучше, во всех мне известных литературах, следующего описания спуска корабля:

При звуках радостных громовых
На брань от пристани спеша,
Вступает в царство волн суровых,
Дуб – тело, ветер – его душа,
Хребет его – в утробе бездны,
Высоки щоглы – в небесах,
Летит на лёгких парусах,
Отвергнув вёсла бесполезны,
Как жилы напрягает снасть,
Вмешает силу с быстротою,
И горд своею красотою,
Над морем воспреемлет власть.

Тут есть такие три стиха, четвёртый, пятый и шестой, которым должны позавидовать и древние и тем более новейшие стихотворцы.

Шишков с изумлением переводил свой восторженный взор с одного на другого, опустивши книгу себе на колени, словно от тяжести её несметных богатств, и стало видать, что между печатными листами вплетены листы белые, чистые, испещрённые множеством ровно выведенных аккуратных пометок, нота-бенов и восклицательных знаков, и невольным уважением проникалась душа его к этим смешным иногда, иногда бесполезным, однако ж таким упорным и вдохновенным трудам, каких слишком мало встречалось среди праздногоулящей пишущей братии, и ему уже не хотелось ничего возражать, хотя многое бы нашлось возразить, лишь дурак, в особенности наделённый умом, повсюду спешит выставить вперёд свою правоту, Бог с ним, а Шишков, украдкой смахнувши пролившуюся слезу, вновь уже вперил свой огненный взор в раскрытую книгу, но тут дверь позади них отворилась и резкий женский голос строго сказал:

– Александр Семёныч! Давно тебе пора в Государственный совет! Там тебя нынче ждут. Ты обещал быть в двенадцать часов, а теперь половина второго.

Шишков вдруг втянул виноватую голову в острые плечи и просительным голосом отвечал:

– Сейчас, сейчас! Вот только прочту...

Неумолимый голос возразил ещё строже:

– Этому чтению не будет конца, я уж знаю тебя. Фёдор! Подавай одеваться Александру Семёнычу!

И Фёдор, в пудреном парике и в чулках, тотчас вступил в кабинет, тотчас утративший всю свою прелесть, держа, растопыривши руки, шитый мундир со звездой, дружелюбно шамкая старческим ртом:

– Извольте, сударь, одеваться.

Поспешно сунувши книгу на стол, Шишков прытко поднялся, распуская пояс шлафрока, искательно говоря:

– Вы у нас отобедаете. Я скоро уже ворочусь. Мне так хочется показать вам в этой поэме одно славное место и изъяснить, откуда Шихматов заимствовал эти красоты. Теперь же ступайте к жене.

Однако Шаховской на эту программу весело поклонился, блеснул лукаво глазами и почтительно возразил:

– Много благодарен за молодого человека, которого вы обласкали, и за себя также, поверьте, мы счастливы были бы слушать хотя до утра, однако ж необходимость принуждается отклоняться, тоже, знаете ли, дела, репетиция и так далее, так что дозволейте дослушать как-нибудь в другой раз.

Шишков просительно поглядел, но, увидя, что Шаховской решительно направляется к двери, засуетился, отмахнулся от приступившего Фёдора, засеменя следом, растерянно бормоча:

– Позвольте, позвольте, я вас проведу!

Из вежливости пропустил он Шишкова вперёд, унося от него это неподдельное благоговение перед каждым удачным стихом, какого ни в ком почти нынче не встретишь, прозаический век, размышляя о том, как подчас над смертными шутит судьба, в избытке наделяя таким редкостным свойством людей несколько ограниченных и не от мира сего, так что от этого дара даже смешных, вопрошая себя, неужто и ему положить свою жизнь на такое вот благородное, однако ж пустое занятие, и едва не натолкнулся на узкую спину в просторном зелёном шлафроке, вдруг возникшую перед ним.

Он опешил и с удивлением расширил глаза.

Шишков стоял перед клеткой, в которой сидел, важно склонив жёлтую голову набок, зелёный попугай-какаду, и нежным, растроганным, неузнаваемым голосом негромко просил, вытягивая губы точно для поцелуя, легко постукивая согнутыми пальцами по изогнутым прутьям:

– Попинька, любезный друг, дурачок, скажи «добрый день», ну. Попинька, дурачок, сделай одолжение, ваше степенство, скажи сердечному другу твоему «добрый день».

Попугай косил глазом и, казалось, нарочно, с насмешкой молчал, а Шишков ещё нежнее, растроганней принялся говорить тем задушевым изломанным говором, каким старый дед рассуждает с малым внучонком, всем известные с детства стишки:

Хоть весною
И тепленько,
А зимою
Холодненько,
Но и в стуже
Нам не хуже.

Скажи, Попинька, «добрый день».

Он с нетерпением ждал, когда они двинутся далее, поражённый этой задушевной беседой с избалованной птицей, такой нелепой и милой, ждал минуты две или три, пока Шаховской, уже в шубе, воротившись назад, молча взял его под руку и вывел в сени, громко сказав уже там:

– Оставим его, Александр Семёныч теперь обо всём позабыл, одна Дарья Алексевна в состоянии растормошить его да отправить служить.

И он, мрачно нахмурясь, натягивая тяжёлую шубу, снова допрашивал, на что же дана ему жизнь, куда поворотить ему свои силы, которые он в себе ощущал?

Таким-то вот образом любопытство его было занято почти постоянно, однако ж никакого ответа на вопросы не находилось, и ум его большей частью дремал.

Настало тревожное, смутное время. Всем представлялось, что после кровопролитной войны русская жизнь неузнаваемо и неминуемо переменится, и многие с беспокойством ожидали чего-то, одни, которых оказывалось больше всего, страшась от перемен потерять, что имели, другие, числом единицы, вдохновенно мечтая о благе Отечества, готовые ради этого чистого блага всё потерять, впрочем, почти ничего не имея. Политика вдруг явилась у всех на устах. О видах правительства спорили жарко на вечеринках, на балах, в театре. Стоило задуматься во время антракта, стоя где-нибудь от всех в стороне, скрестивши праздные руки, тут как тут, читая, должно быть, в этой свободной, непредуказанной позе верную печать величайших раздумий, выдвигался из толпы молодой офицер и непременно с жаром в глазах, словно без жару было нельзя, быстро и вполголоса вопрошал:

– Мыслящему человеку нельзя не приметить, что нынче в России, несмотря на военную славу, приобретённую счастливым исходом последних кампаний, внутренняя организация, администрация, общественное и нравственное положение, правительственные формы и малое развитие в отношении умственного образования бросаются явно в глаза и невольно внушают желание изменить или, по крайности, исправить этот устарелый порядок вещей. Вы об этом какого будете мнения?

Он был того мнения, что изменить устарелый порядок вещей, разумеется, очень желательно, и вопросы сыпались на него один за другим, точно горный обвал, Шишков бы сказал. В каких именно коренных социальных реформах нуждалась Россия? Каким образом осуществятся они? Какие именно силы, правительство или общество эти реформы возьмёт на себя провести? Какие формы правления следует признать наилучшими? Достойно ли просвещённому человеку присваивать себе труд человека же?

Он поразился, что литература тут решительно ничего сказать не могла, ни путного, ни даже беспутного. Литература просто-напросто не обращалась к щемящей русской действительности, воспаряя большею частью в туманные и отвлечённые выси, происхождения германского или британского. Державинский панегирический тон, воинственный азарт и патриотическое самохвальство Шишкова не совсем как-то приходились ко времени, когда обнажилось, что порядок вещей устарел, а другого не предвидится чуть на целые веки. Громкогласные староверы защищали самый корень русского слова, чувствительные карамзинисты проповедовали современный, лёгкий, очищенный, европейски приглаженный стиль, но без основания предпочитая его неуклюжим, хоть и звучным прадедовским славянизмам, одни воспевали дерзновенные деяния предков, другие зывали к прелести лесов и полей, проливали крокодиловы слёзы в элегических вздохах и воскрешали в балладах замки, рыцарей, привидения, которые не завелись на Руси, и могло показаться, что между сими враждебными лагерями зияла отвёрстая пропасть и во взглядах на русскую жизнь, однако это заблуждение было свойственно лишь самим волонтёрам новаторства и архаизма, а со стороны различалось отлично, что все их понятия, все их взгляды именно на русскую жизнь были похожи как две капли воды, обе армии пели горячее чувство к Отчизне, одинаково не любили нововведений, обожали седую патриархальность да восставали на иноземных наставников, которым поручалось воспитание горемычного русского юношества, как-то так закружилось в тех и других головах, что не принимая мы этих бессовестных искателей хорошего жалованья, всё бы сладилось куда как прекрасно, и тотчас самое возмутительное невежество переменилось бы самым глубоким и истинным про-

свещением, а следом за ним воротились бы в неприкосновенности дивной, чудесной исконные русские добродетели, точно наставники русские, исполненные самых возвышенных нравов, повсюду бродили нестройными толпами и алкали общеплезного дела на благо любимой Отчизны, не прося, разумеется, жалованья, да какой-то злодей принятая за благое дело им преступно и с умыслом не позволял. А кто же, если раздуматься, повинен был в том, что завлекали в дома кухмистеров да куафёров? Да у нас, если правду сказать, до сей поры все вольнодумцы да якобинцы, кто находит удовольствие печатное слово читать. И в самом доле, из каких же коврижек натружаться читать, когда по службе продвигает до сего времени не отличное знание дела, а родство, вернейшие связи да слепая покорность властям?

Как отыскать тут пищу уму?

Он повстречал своих прежних товарищей, решившись с ними поближе сойтись, тогда как прежде многих из них сторонился. По многим причинам сближение оказалось совсем не легко. В течение трёх грозных лет великие события неслись перед ними, самым немыслимым образом переменяя судьбы народов и целой Европы, однако же как по-разному довелось им эти события пережить!

Былые товарищи опалены были пороховым дымом Смоленска, Бородина, Тарутина, Красного, Березины, участники кровавых европейских походов, бойцы Байцена и Лейпцига, похитители свободы Парижа – он служил по кавалерийским резервам. Былые товарищи стояли под ядрами, теряя половину состава полка, ходили грудью в штыки, повергая в ужас неробкого неприятеля, насакивали на пушки, бившие картечью в упор, не давая опомниться вражеским канонирам, – он заготавливал сено, овёс, наблюдал нашего кроткого земледельца, насильно отторгнутого от своей деревянной сохи и непритязательных мирных сельских забот, который, глядишь, спустя месяц, много полтора или два, позабывал свою мирскую сермяжную жизнь, приучался повиноваться непреклонному гласу воинского устава и вдруг превращался в стойкого и умелого кавалериста, из которых составила наша многочисленная и отборная конница, отличная, отличавшаяся везде, он дивился многим талантам смекалистого народа, впервые представшего перед ним в самой непритязательной, в самой будничной обстановке переменчивых бивуаков, и размышлял, какие великие деяния совершил бы этот невероятно одарённый народ, будь предоставлен он своей воле и собственному своему разумению. Они одерживали блистательные победы – он познавал, как неприметно и неприглядно, в мелких настойчивых повседневных трудах готовится и куётся победа. Отворотившись с презрением от пустой томительной жизни петербургского праздного общества, наскучив пошлой болтовнёй стариков, они вспоминали о дерзких атаках и жарких делах – он мог бы им рассказать о дрызгах с ремонтом, который прибывал наполовину больной, летучих лазаретах для лошадей, о выделке конского набора для скорейшей обмундировки нижних чинов, о заботах продовольствования в опустошённых местах, о ежедневных головоломных экономических расчётах, каким образом дело поправить и уберечь, легкомысленно не пуская на ветер государственную копейку, которая, по пословице, бережёт миллион.

Разность военных воспоминаний затруднила сближение. Разность взглядов на быстро текущую жизнь почти исключила его. Они вступили в военную службу шестнадцати, семнадцати, восемнадцати лет, не успевши закончить университетского курса, не закончив даже своего воспитания, и лишь нынче, убегая от карт и вина, обыкновенных забав офицера, сядили за книги и приватно слушали лекции Галича⁷² и Куницына да у Карла Германа политические науки, профессора Педагогического института, в квартире его, на Васильевском острове, без чего, разумеется, не бывать возможности сделаться полезным, ни себе, ни обществу, ни Отчизне, тотчас набрасывая друг на друга при встрече с сакраментальным запросом: «Вы мер-

⁷² ...лекции Галича... – Галич Александр Иванович (1783-1848) – преподаватель российской и латинской словесности в лицее, впоследствии профессор Петербургского университета.

кантилист или физиократ?» – он прослушал, усидчиво и с упорством, лекции трёх факультетов, в аудиториях и приватно, и вступил в армию как раз перед тем, как держать испытательные экзамены на звание доктора, так что мог бы читать им и за Галича, и за Куницына, и за Германа, да хотя бы и за иного кого. Они в книгах, новых для них, отыскивали те непогрешительные, безупречные правила, по которым следует жить им самим и целому обществу, чтобы, руководствуясь ими, добиться свободы и совершенства во всех отношениях между людьми, – его сместила рассудочность, книжность и книжники, он давно уже знал что, действуя вопреки самым разумным, но отвлечённым приказам, поступая так, как не предусмотрено никакими учебниками, можно принести большую пользу Отечеству, чем добросовестно следуя им, когда в Муроме, например, делались заготовки провианта и фуража на двенадцать тысяч кавалеристов и девятью тысяч строевых лошадей, а генерал Кологривов расчёл, что таковое число людей и лошадей не могло прийти в одно время, тем более в одном месте иметь содержание, и вовремя запретил заготовки, что казне сберегло до полумиллиона рублей.

Он был общителен и знал очень многих, однако же среди самых близких приятелей, дорогих его сердцу, оказалось мало боевых офицеров. Он бывал в казармах Семёновского полка⁷³, у Ивана Якушкина, подпоручика, двадцати с чем-то лет, и у князя Ивана Щербатова, тоже лет двадцати, с которыми был знаком ещё по Москве. Оба, совместно с такими же молодыми поручиками, соединились в артель, каких в русской армии ещё не бывало, чтобы обедать всякий день вместе. На эти приятельские обеды сходились не одни только вкладчики, но все, кто желал. Чаще прочих являлся Сергей Муравьёв-Апостол, девятнадцати лет, поручик семёновский, Матвей, его старший брат, семёновский прапорщик, Александр Муравьёв, двадцати трёх лет, подполковник Генерального штаба. Никита Муравьёв, двадцати лет, прапорщик, тоже Генерального штаба, Сергей Трубецкой, двадцати пяти лет, поручик Главного штаба, Пестель, двадцати трёх лет, кавалергардский поручик, и ещё кое-кто из мало знакомых ему. После обеда садились за шахматы, читали известия иноземных газет, большей частью французских, с необыкновенным пристрастием прослеживая перипетии европейской политики, спорили, толковали обыкновенно об том, что государь ненавидит всё русское, возмущались, разузнавши об том, что тот однажды сказал, что каждый русский или дурак, или плут, и разбирали главнейшие язвы любимого пылко Отечества.

⁷³ Он бывал в казармах Семёновского полка... – Далее перечисляются будущие декабристы: Сергей Иванович Муравьёв-Апостол (1795-1826), Матвей Иванович Муравьёв-Апостол (1793-1886), Александр Михайлович Муравьёв (1802-1853), Никита Михайлович Муравьёв (1795-1843), Сергей Петрович Трубецкой (1790-1860), Пестель Павел Иванович (1793-1826).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.